

Лилия и лев

Автор:

[Морис Дрюон](#)

Лилия и лев

Морис Дрюон

Проклятые короли #6

В трагическую годину История возносит на гребень великих людей; но сами трагедии – дело рук посредственностей. Прошло полгода после кончины Филиппа Красивого. При его правлении Франция была великой державой. Но сын Железного короля Людовик X – монарх слабый и неумелый, и вот уже мятежные бароны сеют смуту в провинции, чиновники разворовывают государственную казну. В стране голод. Но, возможно, это всего лишь сбывается проклятие Великого магистра ордена тамплиеров.

Морис Дрюон

Лилия и лев

Maurice Druon

LE LIS ET LE LION

© 1959 by Maurice Druon

© Н. Жаркова, перевод с французского, 2012

© Л. Ефимов, перевод с французского (комментарии), 2012

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012

* * *

Главное в политике – стремление к захвату и удержанию власти; и, следовательно, тут требуется воздействовать на умы принуждением или обманом... Политик, в конечном счете, всегда бывает принужден прибегать к фальсификации.

Поль Валери

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Мадлен Мариньяк за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.

М. Д.

Часть первая

Новые короли

Глава 1

Бракосочетание в январе

Вот уже два часа подряд из всех городских приходов, и с левого, и с правого берега реки, из Сент-Дениса, из Сент-Катберта, из Сент-Мартин-и-Грегори, из Сент-Мэри-Синиор и Сент-Мэри-Джуниор, с Боен и с улицы Дубильщиков – отовсюду, со всех сторон тянулся йоркский люд, текли бесконечные вереницы зевак к Минстеру, к этому гиганту собору с еще не достроенным западным порталом, к этой вытянутой в длину громаде, царившей с вершины холма над всей округой.

На Стоунгейт и на Дингейт, на двух кривых улочках, выходивших к Ярду, получился настоящий затор. Даже неунывающие мальчишки, взгромоздившиеся на каменные тумбы, видели на площади одни лишь головы, головы, сотни и тысячи голов. Горожане, торговцы, почтенные матроны с целыми выводками ребятишек, калечные на костылях, служанки, ремесленники, клирики в своих капюшонах, солдаты в кольчугах, нищие в жалких отрепьях – все смешалось, как соломинки в копне сена. Проворные пальцы воришек очищали карманы зевак, собирая жатву вперед на целые полгода. Из окон, как гроздь, свешивались головы.

Среди бела дня напалз откуда-то, словно дым, серый влажный полумрак, зябкая мгла, плотный, как вата, туман, окутавший огромный костяк собора, тысячи шлепавших по грязи зевак. Люди сбивались плотнее, лишь бы сохранить драгоценное тепло. Двадцать четвертое января 1328 года. Здесь, в соборе, его преосвященство Уильям Мелтон, архиепископ Йоркский и примас Англии, сочетал браком короля Эдуарда III, которому не было еще и шестнадцати, с мадам Филиппой Геннегау, его троюродной сестрой, которой недавно исполнилось четырнадцать.

Некуда было яблоку упасть в соборе, где собралась вся высшая знать – государственные сановники, высшее духовенство, члены парламента да еще пять сотен рыцарей и сотня шотландских дворян в клетчатом одеянии, уполномоченных не только представлять Шотландию на брачной церемонии, но заодно и подписать мирный договор. Вот-вот должна была начаться торжественная месса, и по этому случаю был приглашен хор в сто двадцать певчих.

Но первая часть церемонии – собственно говоря, само бракосочетание – происходила перед южным порталом, на паперти собора и на виду собравшегося народа, согласно древнему ритуалу и обычаям Йоркской епархии[40 - ...согласно древнему ритуалу и обычаям Йоркской епархии, – Церковь никогда

не навязывала жесткую или единообразную форму обряду бракосочетания и скорее удовлетворялась частными обычаями. Разнообразие ритуалов и терпимость церкви по отношению к ним основывается на том факте, что брак по сути есть договор между индивидами, а также таинство, священнослужителями которого друг для друга являются сами брачующиеся. В первоначальных христианских церквях присутствия священника и даже любого свидетеля при этом обряде вовсе не требовалось. Благословление стало обязательным лишь после декрета Карла Великого. До реформы Трентского собора (XVI в.) обручение, в силу того, что является обязательством, имело почти такое же значение, как и само бракосочетание. В каждой области были свои особые обычаи, которые могли варьироваться от епархии к епархии. Так, херефордский ритуал отличается от ритуала йоркского. Но обмен обетами, составлявший собственно таинство, происходил обычно прилюдно, вне церкви. Именно таким образом король Эдуард I женился на Маргарите Французской в сентябре 1299 г., у врат Кентерберийского кафедрального собора. Существующее в наши дни правило держать во время церемонии бракосочетания двери церкви открытыми (несоблюдение которого может даже стать причиной аннулирования брака) – пережиток как раз этой традиции. Брачный ритуал архиепископства Йоркского имел некоторые аналогии с ритуалом Реймса, а именно в том, что касалось последовательного надевания кольца на четыре пальца, но в Реймсе этот жест сопровождался следующей формулой: Этим кольцом церковь велит, Чтобы наши два сердца в одно слились Истинной любовью, праведной верой; Того ради тебя обязую.].

На алом бархате балдахина, воздвигнутого на паперти, взбухали влажные полосы оседавшего мельчайшими каплями тумана на епископских митрах; мокрые меха липли к плечам королевской родни, сгрудившейся вокруг юной четы.

– Here I take thee, Philippa, to my wedded wife, to have and to hold at bed and at board... – Беру тебя, Филиппа, в законные жены, дабы иметь тебя при себе на ложе своем и у очага своего...

Слова клятвы произносил безусый юнец с мальчишески пухлыми губами, и, однако, голос шестнадцатилетнего короля поразил присутствующих силой, чистотой и какой-то особо выразительной звучностью. Поразил он и мать Эдуарда III – королеву Изабеллу Французскую, и мессира Иоганна Геннегау, дядю новобрачной, и всех вельмож, и среди них графа Эдмунда Кентского и Норфолкского и графа Ланкастерского, по прозвищу Кривая Шея, главу

Регентского совета и королевского опекуна, стоявших в первом ряду.

– ...for fairer for fouler, for better for worse, in sickness and in health... – в красоте и убожестве, в счастье и несчастье, в болезни и в здравии...

Шепот, стоявший над толпой, вдруг смолк. Будто круговая волна тишины омыла всю площадь, и лишь голос короля раздавался над тысячами голов, юный, чистый голос, слышный в самых дальних уголках площади. Неторопливо произносил король слова обета, выученного им наизусть еще накануне, но чудилось, будто рождаются они у всех на глазах прямо из сердца, так проникновенно звучало каждое слово, так он «обдумывал» каждую священную формулу, дабы вложить в нее самый сокровенный и самый заветный смысл. Казалось, он творит молитву, ту молитву, что не повторяют дважды, а творят ее лишь один-единственный раз на всю жизнь.

И устами этого юноши говорила душа зрелого мужа, человека, с открытыми глазами принимающего на себя обет перед лицом Неба, правителя, сознающего свою роль посредника между богом и народом. Новый король брал родных, близких, важных сановников, баронов, прелатов, жителей города Йорка и всей Англии в свидетели своей любви к королеве Филиппе.

Пророки, ревностно служащие господу своему, духовные вожаки народа, сильные своей одержимостью, умеют как никто заразить толпу своей верой. Публично выраженная любовь также наделена этим свойством, чувства одного человека способны сплотить людей в едином порыве.

Не было среди собравшихся у собора ни одной женщины, которая независимо от возраста, будь то счастливая новобрачная или обманутая жена, вдова, девица, дряхлая бабка, не поставила бы себя сейчас на место брачующейся, и не было ни одного мужчины, не отождествлявшего себя в эти минуты с юным королем. Эдуард III сочетался с вечно женственным, с женской половиной своих подданных, и казалось, само королевство единодушно выбрало ему в подруги Филиппу. Все грезы юности, все разочарования зрелости, все сожаления старости о несбывшихся надеждах влеклись к молодой чете, подобно дару, приносимому каждым сердцем. Нынче вечером тьму улиц прорежет сияние этих молодых глаз, и даже старые супружеские пары, уже давно живущие, хоть и бок о бок, но каждый сам по себе, возьмутся после ужина за руки.

И если с давнишних времен народ всегда стремится поглазеть на королевскую свадьбу, то движет людьми одно желание – пережить, если не прямо, то хоть косвенно, минуты этого счастья, ибо вознесенное на такую высоту, оно кажется совершенным.

– ...till death us do part... – пока не разлучит нас смерть...

У каждого при этих словах перехватило горло; вся площадь испустила долгий вздох, вздох грустного удивления, почти осуждающий вздох. Нет, негоже в такие минуты даже поминать смерть; не может быть, чтобы этим двум столь юным существам была уготована общая участь, даже помыслить трудно, что и они тоже смертны.

– ...and thereto I plight thee my troth... – и по всем этом я даю тебе свою клятву.

Юный король чувствовал взволнованное дыхание толпы, но не бросил туда взгляда. Его светло-голубые, почти серые глаза под длинными ресницами были устремлены на эту рыженькую пухленькую девочку, всю в бархате и покрывалах, которой он приносил свою клятву.

Ибо Филиппа отнюдь не походила на принцессу из волшебной сказки, даже хорошенькой ее трудно было назвать. Как у всех Геннегау, черты у нее были расплывчатые, нос чуть вздернутый, шея коротковата, и притом все лицо в веснушках. Ни в повадках, ни во всем облике не проглядывало особого изящества, зато она была совсем простенькая и даже не пыталась придать себе величественный вид, что было бы ей вовсе не к лицу. Не будь на ней этого королевского наряда, ее трудно было бы отличить от любой рыженькой девушки, ее ровесницы: таких пухленьких рыженьких девочек сотни, если не тысячи, во всех северных странах Европы. Она была избранницей судьбы и господ бога, но, в сущности, ничем, буквально ничем, не отличалась ото всех прочих женщин, чьей королевой ей суждено было стать. Любая рыженькая пухленькая девица чувствовала себя польщенной и как бы поднявшейся ступенью выше по иерархической лестнице.

Сама Филиппа, взволнованная до дрожи, не подымала век, словно не в силах была выдержать устремленный на нее пристальный взгляд своего супруга. Все, что произошло с ней, было чересчур прекрасно. Сколько вокруг нее корон, сколько митр, а эти рыцари, а эти дамы, которых она успела заметить внутри

собора, стоявшие в ряд за огромными свечами, как души избранных в раю, и вся эта толпа на площади... Королевой, она будет королевой, и избрана она по любви!

О, как же она будет холить, угождать, боготворить этого белокурого красавца принца, у которого такие длинные ресницы, такие тонкие руки, который каким-то чудом появился в их Валансьенне полтора года назад, прибыл туда вместе с изгнанницей матерью, приехавшей к ним просить помощи и приюта! Родители посылали детей в сад поиграть; он влюбился в нее, а она в него. А теперь он стал королем, но он ее не забыл. Какое же это счастье – отдать ему всю свою жизнь без оглядки! Одного только она боялась – не такая уж она хорошенькая, чтобы ему нравиться и впредь, и не такая уж ученая, чтобы быть ему помощницей.

– Протяните, мадам, вашу правую руку, – обратился к ней архиепископ-примас.

Выпростав из-под длинного бархатного обшлага свою пухлую ручку, Филиппа решительно протянула ее ладонью вверх, растопырив пальчики. Эдуард с восторгом взглянул на эту розовую живую звездочку, вверявшуюся ему.

С блюда, которое держал второй прелат, архиепископ взял плоское золотое кольцо с рубином, только что освященное им, и вручил королю. Кольцо тоже было мокрое на ощупь, как и все, к чему только ни прикасался в эту погоду человек. Потом архиепископ бережным движением соединил руки брачующихся.

– Во имя отца... – произнес Эдуард, надевая кольцо на кончик большого пальца Филиппы... – Во имя сына... во имя духа святого... – договорил он, примеряя ей кольцо на кончик указательного, а затем среднего пальца.

Наконец он надел ей кольцо на безымянный палец и промолвил:

– Аминь!

Она стала его женой.

Как и любая мать, присутствующая на свадьбе сына, королева Изабелла прослезилась. Она принуждала себя молить бога о ниспослании ее сыну всякого

счастья, но не могла, она думала о своей собственной участи и мучилась этой думой. Безжалостное время шло, и вот она уже не первая – ни в сердце сына, ни в королевской семье. Нет, понятно, ей нечего особенно опасаться этой похожей сейчас на пирамиду бархата и расшитых тканей девчушки, которую судьба послала ей в невестки, нечего опасаться ни за свое влияние при дворе, ни соперничества в красоте.

Прямая, тонкая, вся золотистая, с прекрасными косами, уложенными по обе стороны ясного лица, Изабелла в свои тридцать шесть лет выглядела тридцатилетней. Даже нынче утром зеркало, в которое она долго гляделась, прилаживая корону для брачной церемонии, даже зеркало рассеяло ее сомнения. И однако ж, с этого дня она уже не просто королева, а королева-мать. Как же так получилось, что все произошло слишком быстро? Как получилось, что двадцать лет жизни, чреватой столькими бурями, бесследно поглотило время.

Она вспомнила о своей собственной свадьбе, состоявшейся ровно двадцать лет назад, тоже, как и эта, в конце января и тоже в туманный день, но во французском городе Булони. Она тоже шла к алтарю, веря в счастье, она тоже произносила клятвы супружеской верности, произносила их от всей души. Могла ли она тогда знать, за кого ее выдают замуж во имя интересов двух королевств? Могла ли она знать, что в обмен на любовь и преданность, которые она несла в сердце своем, ее ждут лишь унижения, ненависть и презрение, что на супружеском ложе ее заменят, нет, даже не любовницы, а королевские фавориты, жадные, постыдные люди, что приданое ее расхитят, имущество ее отберут, что ей самой придется бежать на чужбину, дабы спасти свою жизнь, находящуюся под угрозой, поднять войска, дабы свалить того, кто надел ей на палец обручальное кольцо?

Ах, как же повезло этой девочке Филиппе, она не просто вступила в брак, она любима!

Только лишь первые узы любви могут быть полностью чисты и полностью счастливы. И если, на вашу беду, было не так, ничем их не заменить. Сколько бы вы ни любили потом, никогда любовь не будет столь совершенной в своей чистоте; пусть даже она крепка, как мрамор, все равно к жилах ее струится не живая алая кровь, а уже иссохшая кровь минувшего.

Королева Изабелла перевела взор на Роджера Мортимера, барона Вигморского, своего любовника, на того человека, который благодаря ей, но и благодаря самому себе единовластно правил Англией от имени юного короля. И в ту же самую минуту он поднял на нее глаза и, скрестив руки на своем роскошном одеянии, сурово взглянул на нее из-под нахмуренных бровей.

«Догадался, о чем я думаю, – решила про себя Изабелла. – Но что это за человек, только на миг отвлечешься мыслью от него, и он тут же дает вам понять, что вы совершили чуть ли не преступление!»

Ей хорошо был известен недоверчивый нрав Мортимера, и она улыбнулась, желая его успокоить. Что ему надо еще, если и так он владеет всем? Живут они, словно бы состоят в законном браке, словно муж и жена, хотя она – королева Англии, хотя он женат, и вся страна знает об их связи, впрочем вполне открытой. Она сумела добиться того, что в его руках сосредоточена вся власть. На все должности Мортимер посадил своих ставленников: роздал им ленные владения бывших фаворитов Эдуарда II, а Регентский совет лишь утверждает его решения. Мортимер даже смог вырвать у нее согласие на то, чтобы ее свергнутого с престола супруга лишили жизни. И она знала, что с тех пор кое-кто зовет ее Французской волчицей! Но не может же он помешать ей в день бракосочетания старшего сына вспомнить своего убитого супруга, тем паче что палач Джон Малтреверс, недавно ставший сенешалем Англии, находится здесь собственной персоной, среди высшей знати, и, видя его длинную зловещую физиономию, невольно думаешь о совершенном им преступлении.

Не одну только Изабеллу коробило его присутствие: Джон Малтреверс, зять Мортимера, был приставлен охранять покойного короля, и скоропалительное его повышение слишком явно свидетельствовало о том, за какие такие услуги он был произведен в сенешали. По официальной версии, Эдуард II скончался естественной смертью. Но кто при дворе верил этой басне?

Сводный брат покойного короля, граф Кент, нагнулся к своему кузену Генри Ланкастеру Кривая Шея и шепнул ему на ухо:

– На мой взгляд, по нынешним временам только через цареубийство и можно с полным правом войти в королевскую семью...

Эдмунд Кент совсем продрог. По его мнению, брачная церемония слишком затянулась, йоркская служба слишком сложна. Ну почему бы не сыграть свадьбу в часовне Тауэра или в каком-нибудь из королевских замков, так нет – воспользовались подходящим случаем и устроили самую настоящую кермессу для простолюдинов! Как и при всяком скоплении народа, ему становилось не по себе. А тут еще этот Малтреверс с его зловещей физиономией... Ведь это же просто непристойно, чтобы человек, отправивший на тот свет папашу, присутствовал, да еще затесавшись среди высшей знати, на свадьбе сына.

Кривая Шея – голова у него свисала на правое плечо, откуда и пошло это прозвище, – шепнул кузену:

– Именно совершив грех, легче всего войти в королевскую семью. Наш друг – первое тому доказательство...

Под словами «наш друг» он подразумевал Мортимера, чувства англичан к которому сильно изменились за эти полтора года, с того времени, когда он во главе армии королевы высадился в Англии и был встречен народом как освободитель.

«В конце концов, рука, безропотно исполняющая приказы, идущие из чужой головы, не намного хуже этой головы, – подумал Кривая Шея. – И само собой разумеется, Мортимер, а вместе с ним и королева Изабелла виновны во всем случившемся куда больше, чем Малтреверс. Да мы все в этом отчасти повинны, все мы подбросили свой груз на чашу весов, когда речь шла о лишении Эдуарда II престола. А раз так, иначе кончиться и не могло».

Тем временем архиепископ вручил молодому королю три золотые монеты, на аверсе которых были вычеканены гербы Англии и Геннегау, а на реверсе – бутоны роз, ибо цветок этот служит эмблемой супружеского счастья. Монеты эти именовались «динарием брачующихся», как символ того наследства, которое муж оставляет своей жене в виде денежных доходов, земель и замков. Все эти дары были точно определены и записаны, так что дядя Филиппы мессир Иоганн Геннегау вздохнул с облегчением, ибо ему до сих пор не вернули долг в пятнадцать тысяч ливров, которые обязались выплатить как жалованье его коннице во время Шотландского похода.

– Припадите к ногам вашего супруга, дабы он вручил вам динарии, – обратился архиепископ к новобрачной.

Все жители Йорка, затаив дыхание, нетерпеливо ждали этой минуты, каждому было любопытно знать, будет ли соблюден их местный обычай до конца, ибо то, что пристало последней подданной королевы, пристало и самой королеве.

Но никто и предвидеть не мог, что мадам Филиппа не только преклонит колена, но в безудержном порыве любви и благодарности еще и обхватит обеими руками ноги супруга и облобызает колени того, кто сделал ее королевой. Выходит, что она, эта пухленькая фламандка, повинувшись голосу сердца, способна еще и сама приукрасить древний обычай!

Толпа встретила ее жест громкими кликами одобрения.

– Думаю, они будут счастливы, – сказал Кривая Шея, обращаясь к Иоганну Геннегау.

– Народ ее полюбит, – сказала Изабелла подошедшему к ней Мортимеру.

Но в душе королевы-матери кровоточила рана: все эти клики народные обращены не к ней. «Теперь королевой стала Филиппа, – думала она. – Мое время прошло. Да, но теперь, возможно, я заполучу Францию...»

Ибо неделю тому назад гонец в одеянии, украшенном лилиями, прискакал в Йорк, дабы сообщить, что последний ее брат, король Франции Карл IV, при смерти.

Глава II

Труды ради короны

Король Карл IV слег в первый день Рождества. И уже на Богоявление ученые лекари заявили, что надежды нет. Неужели из-за этой изнуряющей лихорадки, этого кашля, выворачивающего все нутро, из-за этого кровохарканья? Ученые

лекари только плечами пожимали, как бы говоря: тут мы бессильны. Ясное дело, проклятье! Проклятье, что пало на голову потомков Филиппа Красивого. А от проклятья нет ни лекарств, ни исцеления. И королевский двор и народ полностью разделяли это мнение лекарей.

Людовик Сварливый скончался в двадцать семь лет, правда, тут не обошлось без преступного деяния. Филипп Длинный умер в двадцатидевятилетнем возрасте, напившись в Пуатье воды из отравленного колодца. Карл IV продержался до тридцати трех лет, это уже был предел. Всякому известно, что те, на чью голову пало проклятье, не могут перешагнуть тридцати трех лет, возраста Иисуса Христа нашего!

– А теперь, возлюбленный брат мой, пришел наш черед взять бразды правления, вести королевство твердой рукой, – внушал граф Бомон, он же Робер Артуа, своему кузену в шурина Филиппу Валуа. – И на сей раз, – добавлял он, – мы не дадим себя обскакать моей тетушке Маго. Впрочем, у нее и зятьев-то не осталось, так что некого ей сажать на французский престол.

Оба кузена пользовались отменным здоровьем. Робер Артуа оставался все тем же колоссом, и по-прежнему ему, переступая порог, приходилось нагибать голову, чтобы не расквасить лоб о притолоку, и по-прежнему он в свои сорок один год мог при желании повалить на землю быка, ухватив его за оба рога. Непревзойденный мастер судопроизводства, крюкотворства и интриг, он в течение двадцати лет неоднократно доказывал свою ловкость и умение, и начав смуту в своих владениях, и развязав войну в Гиени, да, впрочем, разве все перечтешь. Плодом его неусыпных трудов отчасти явилось и разоблачение скандальной тайны Нельской башни. И если королева Изабелла вкупе с ее любовником лордом Мортимером сумела собрать в Геннегау армию, поднять Англию и свергнуть Эдуарда II, то и тут не обошлось без Робера. А что руки у него были запятнаны кровью Маргариты Бургундской, то ему на это наплевать. Еще совсем недавно в Королевском совете его голос легко заглушал нерешительное бормотание слабовольного Карла IV.

Филиппа Валуа, который был на шесть лет моложе Робера, природа не наградила столь многочисленными дарами. Но был он высок и крепок, широкогруд, повадки имел благородные и, когда поблизости не оказывалось Робера, тоже производил впечатление богатыря, чему немало способствовала его рыцарственная осанка, располагавшая к нему сердца людей. Но главным козырем Филиппа была добрая память о его отце, о прославленном Карле Валуа,

самом отчаянном смутьяне и искателе приключений, какие только встречались среди принцев крови, в вечной погоне за призрачными тронами, подстрекателе, правда неудачном, крестовых походов, но при всем том великом воине; и неудивительно, что сын всячески старался подражать отцу в мотовстве и роскоши.

И хотя до сих пор Филиппу Валуа так и не удалось удивить Европу своими талантами, в него верили. Он блистал на турнирах, которые были подлинной его страстью; каждый отдавал дань восхищения тому пылу, с каким он бросался на противника.

– Ты будешь регентом, Филипп, я сам за это дело возьмусь, – гнул свое Робер Артуа. – Регентом, а быть может, и королем, если будет на то воля господня... другими словами, я имею в виду, если только через два месяца моя племянница королева[41 - ...если только через два месяца моя племянница королева... – После расторжения своего брака с Бланкой Бургундской (см. предыдущий том «Французская волчица») Карл IV женился последовательно на Марии Люксембургской, умершей при родах, потом на Жанне д'Эвре. Эта последняя приходилась племянницей Филиппу Красивому через своего отца Людовика Французского, графа д'Эвре, а также Роберу д'Артуа через свою мать Маргариту д'Артуа, сестру Робера.], а она действительно на сносях, не родит Карлу сына. Бедняжка Карл! Не видать ему своего ребенка, а ведь как он его ждал... Ну пусть даже это будет мальчик, все равно целых двадцать лет ты будешь регентом. А за двадцать лет...

Не dokonчив фразы, он махнул рукой, и жест этот красноречивее слов говорил, что чего только на свете не бывает: и дети мрут как мухи, и часты несчастные случаи на охоте, ибо неисповедимы пути господни.

– А ты, как я знаю, человек верный, – продолжал гигант Робер, – ты добьешься, чтобы мне наконец вернули мое графство Артуа, которым до сих пор несправедливо владеет эта разбойница, эта отравительница Маго; она заодно присвоила себе и титул пэра, как владелица этого графства. Да ты подумай только, я даже не пэр! Прямо курам на смех! Мне за твою родную сестру, то есть за супругу мою, стыдно!

Филипп дважды клюнул крупным мясистым носом в знак согласия и опустил веки.

– Робер, если я и впрямь буду у кормила власти, ты получишь все, что тебе положено по праву. Можешь смело рассчитывать на мою поддержку. Самая прочная дружба – это та, что основана на общих интересах и общих трудах ради собственного будущего, тесно связанного с будущим твоего друга.

Робер Артуа, не брезговавший ничем, когда речь шла о деле, взялся съездить в Венсенн, дабы самолично сообщить Карлу Красивому, что дни его сочтены и что не мешало бы ему сделать кое-какие распоряжения, скажем, немедленно созвать пэров и представить им Филиппа Валуа как будущего регента. Более того, почему бы не облегчить пэрам выбор и уже сейчас не вручить Филиппу Валуа бразды правления, наделив его всей полнотой королевской власти?

– Все мы смертны, дорогой мой кузен, все смертны, – твердил пышущий здоровьем Робер, и от его тяжелых шагов сотрясалось ложе умирающего.

У Карла IV уже не оставалось сил для отказа, и он почувствовал даже облегчение от того, что с него сняли еще одну заботу. Все его помыслы были направлены на то, чтобы удержать жизнь, отлетавшую прочь с каждым новым вздохом.

Итак, Филипп Валуа получил королевские полномочия и повелел созвать пэров.

А Робер Артуа тут же опять собрался в путь. Сначала к своему племяннику д'Эвре, еще совсем молоденькому – ему только что исполнился двадцать один год, – юноше весьма привлекательной внешности и довольно вялого нрава. Он был женат на дочери Маргариты Бургундской, Жанне Малой, как звали ее по старой памяти, хоть ей уже минуло семнадцать, той самой Жанне, которую после кончины Людовика Сварливого лишили права на французский престол.

И впрямь, к салическому закону прибегли именно из-за Жанны Младшей, дабы отстранить ее от престола, и добились этого без особых хлопот, ибо, памятуя распутство ее покойной матери, не так-то трудно было заподозрить дочь в незаконном происхождении. Но, желая вознаградить ее за потерю, а главное, чтобы утихомирить Бургундский дом, Жанну Младшую признали прямой наследницей Наваррской короны. На самом же деле выполнять это обещание не слишком спешили, и оба последних короля Франции по-прежнему носили титул королей Наваррских.

Если бы Филипп д'Эвре хоть чуточку походил на своего дядюшку Робера Артуа, ему представился бы великолепный случай взбаламутить все государство Французское, оспаривая свое право на престол и требуя от имени супруги не одну, а целых две короны.

Но Робер, пользуясь своим влиянием на племянника, в два счета облапошил возможного претендента на французский престол.

– Как только мой зять Валуа будет регентом, получишь ты свою Наварру, племянник, сразу получишь. Я лично поставил Филиппу такое условие – хочешь, мол, моей поддержки, уладь сначала это семейное дело. Быть тебе королем Наварры! А наваррской короной грех пренебрегать, и послушай-ка моего совета: поскорее нацепи ее на себя, прежде чем подымутся споры да дразги. Ибо, скажу тебе на ушко, права твоей супруги малютки Жанны были бы куда неоспоримее, ежели бы ее мамаша почаще отказывала мужчинам! Сейчас такая свара начнется, что тебе без поддержки не обойтись, а мы тебя как раз и поддержим. И не вздумай слушать своего дядюшку герцога Бургундского: он тобой в личных своих целях воспользуется, а кончится все это тем, что вы натворите глупостей. Держись Филиппа Валуа, пускай он будет регентом!

Таким образом, после окончательного отказа от Наварры Филипп Валуа располагал уже двумя голосами, не считая своего собственного.

Людовик Бурбон был пожалован званием герцога всего несколько недель назад и одновременно получил в удел графство Марш[42 - ...и одновременно получил в удел графство Марш. – По договору, заключенному в конце 1327 г., Карл IV обменял графство Марш, составлявшее его ленное владение, на графство Клермон-ан-Бовези, которое Людовик Бурбонский унаследовал от своего отца, Робера де Клермона. Именно по этому случаю сеньория Бурбон была возвышена до герцогства.]. Он был старшим в королевской фамилии. Если, не дай бог, с назначением регента произойдет нежелательная заминка, Бурбон сам будет оспаривать право на престол, так как многие охотно поддержат прямого внука Людовика Святого. Так или иначе, его слово на Совете пэров будет весить немало. К счастью, этот хромец трусоват. А войти в прямое соперничество с мощной кликой Валуа по плечу только человеку отважному. Да кроме того, его родной сын женат на сестре Филиппа Валуа.

Робер под рукой намекнул Людовику Бурбону, что, чем скорее он присоединится к ним, тем скорее будут гарантированы на деле его права на земельные угодья

и титулы, дарованные на бумаге при предыдущих королях. Вот вам и третий голос.

Не успел герцог Бретонский прибыть из Ванна в свой парижский отель, не успели еще слуги распаковать его сундуки, как перед ним собственной персоной возник Робер Артуа.

– Поддержим Филиппа, а? Ты, я вижу, согласен... Филипп такой благочестивый, такой верный человек, из него наверняка получится хороший король... то есть, я хочу сказать, хороший регент.

Иоанн Бретонский просто не мог подать свой голос против Филиппа Валуа. Ведь он вступил в брак с сестрой Филиппа, Изабеллой, скончавшейся, правда, и в возрасте восьми лет, но узы взаимной привязанности между ним и Филиппом не стали от этого слабее. Для пущей убедительности Робер привел с собой свою матушку Бланку Бретонскую, связанную кровными узами с Иоанном Бретонским, дряхлую, ссохшуюся, морщинистую старушку, полную невежду в политических интригах, но зато упрямо отстаивавшую любое предложение своего гиганта сына. А сам Иоанн Бретонский меньше пекся о судьбе Франции, чем об интересах своего герцогства. Ну и ладно! Хорошо, пусть будет Филипп, раз все дружно прочат его в регенты.

Пока что кампания шла, так сказать, в узкой среде зятьев, шуринов и деверей. Кликнули на подмогу Ги де Шатийона, графа де Блуа, который пэрром не был, и даже графа Вильгельма Геннегау, кликнули просто потому, что оба они были женаты на сестрах Филиппа Валуа. Благодаря всем этим широко разветвленным родственным связям семья Валуа уже ныне становилась как бы подлинной королевской фамилией.

Как раз сейчас Вильгельм Геннегау выдал свою дочку за молодого английского короля: что ж, неплохо, никто и не собирается возражать, даже есть надежда, что рано или поздно брак этот послужит к семейной выгоде. Однако же Вильгельм рассудил послать на бракосочетание дочери своего младшего брата Иоганна, дабы тот представлял дом Геннегау, а сам предпочел сидеть в Париже, где все кипит накануне важнейших событий. Ведь уж давным-давно Вильгельм Добрый мечтал, чтобы землю Блатон, вотчину французской короны, клином врезающуюся в его государство, уступили бы ему. Хорошо, хорошо, как только Филипп станет регентом, отдадут ему этот Блатон за безделицу, за чисто символический выкуп.

А Ги де Блуа был чуть ли не последним из баронов, за которыми еще сохранялось право чеканить свою монету. На его беду и как бы в насмешку над этой привилегией денег у него не было, и с каждым днем он все больше запутывался в долгах.

– Ги, дражайший мой родич, выкупим мы твое право на чеканку монеты, выкупим. Первым делом об этом позаботимся.

Словом, всего за какую-нибудь неделю Робер проделал воистину геркулесов труд.

– Видишь, Филипп, видишь, – твердил он своему кандидату, – видишь, какую добрую службу сослужат нам все те браки, что в свое время устроил твой отец. Обычно считается, что много дочерей – для родителей беда, а твой батюшка, этот мудрый человек, да упокой господи душу его, сумел ловко пристроить твоих сестричек.

– Верно, – протянул Филипп, – но ведь придется выплатить им то, что недодано в счет приданого. Кое-кому только четвертую часть обещанного дали на руки.

– И начать надо с нашей любимой Жанны, моей супруги, – подхватил Робер Артуа. – Но, коль скоро мы сами будем распоряжаться казной...

Труднее оказалось завербовать в ряды сторонников Валуа графа Фландрского – Людовика де Креси Неверского. Ибо зятем он никому не доводился и не требовал ни земель, ни денег. А требовал он отвоевать его родное графство, откуда его с позором изгнали собственные подданные. Пришлось пообещать ему выступить войной против жителей Невера и Креси, чтобы добиться его поддержки.

– Людовик, возлюбленный кузен мой, Фландрию вам вернут, и вернут ее силою оружия, наше слово тому порукой!

После всех этих подвигов Робер, думавший обо всем и ничего не забывавший, снова помчался в Венсенн, надо было поторопить Карла IV подписать завещание.

От Карла осталась лишь тень короля, выхаркивающего с кровью последние лохмотья легких.

Но даже на смертном одре умирающий вспоминал о крестовом походе, вернее, о проекте крестового похода, мысль о котором в свое время вбил ему в голову его дядя Карл Валуа. Из года в год проект этот претерпевал видоизменения; церковные субсидии использовались совсем на иные цели; а потом скончался и сам Карл Валуа... И эта злая болезнь, подтачивающая его, Карла IV, уж не кара ли она за то, что он не сдержал своего слова, нарушил священный обет? Кровь, хлеставшая из горла на белоснежное белье, напоминала ему тот алый крест, который он так и не успел нашить на свою мантию.

И теперь в надежде умиловать Небеса и выторговать себе еще хоть несколько недель жизни он приказал добавить в конце завещания свою волю касательно Святой земли. «Ибо намерением моим было самому идти туда при жизни, – продиктовал он писцу, – и, ежели того не случится при жизни моей, повелеваю отпустить из казны пятьдесят тысяч ливров на первый же всеобщий поход, когда таковой начнется».

Подобная сумма нанесла бы смертельную брешь французской казне, особенно сейчас, когда денег не хватало на самые неотложные, самые необходимые нужды. Робер чуть было не задохнулся от злости. Этот упрямый болван Карл помирает, а от своих дурацких затей отречься не хочет. Его просто-напросто попросили отказать в завещании по три тысячи ливров канцлеру Жану де Шершемону, а также маршалу де Три и мессире Милю де Нуайэ, председателю Фискальной палаты, в награду за их беспорочную службу королевскому дому... и еще потому, что по занимаемым ими должностям они имели право заседать в Совете пэров.

– А коннетаблю? – еле слышно прошептал умирающий.

Робер только плечами пожал. Коннетаблю Гоше де Шатийону стукнуло уже семьдесят восемь, глух он, как тетерев, а добра у него столько, что сам не знает, куда его девать. В такие годы где уж там льститься на золото! Коннетабля из завещания вычеркнули.

Зато Робер с великим тщанием помог Карлу IV составить список лиц, которым поручалось следить за точным выполнением всех пунктов завещания, ибо список

этот как бы устанавливал старшинство среди великих мира сего: граф Филипп Валуа во главе списка, потом граф Филипп д'Эвре и затем, конечно, сам Робер Артуа, граф Бомон-ле-Роже.

Покончив с завещанием, Робер взялся за князей церкви, которых тоже следовало привлечь на свою сторону.

Архиепископ Реймский Гийом де Три издавна был духовным наставником Филиппа Валуа; к тому же Роберу только что удалось убедить короля упомянуть родного брата архиепископа маршала де Три в завещании, и свои три тысячи ливров он получит звонкой монетой. Так что с этой стороны препятствий не предвидится.

Архиепископ Лангрский тоже с давних пор был связан с домом Валуа; и в равной мере ему был предан архиепископ Бовезский, Жан де Мариньи, последний оставшийся в живых брат великого Ангеррана. Былое предательство, бывшие угрызения совести, а также и взаимные услуги – вот те нити, из которых прядутся наипрочнейшие связи.

Оставались вне игры епископы Шалонский, Лаонский и Нуайонский; все трое, как было известно, держали руку Эда Бургундского.

– Ну а что касается этого бургундца, – воскликнул Робер Артуа и даже руки широко развел, – это уж твое дело, Филипп. Мы с ним на ножах, поэтому я тут бессилён. А ты женат на его родной сестре, стало быть, должен и можешь оказать на него воздействие.

Эд IV не был, что называется, орлом по части управления своей Бургундией. Однако он хорошо усвоил уроки своей покойной матушки, герцогини Агнессы, младшей дочери Людовика Святого, и не забыл, как сам он сумел дорого продать свой голос, подав его за Филиппа Длинного, метившего в регенты, за что и получил в те времена разрешение присоединить к Бургундскому графству Бургундское герцогство. Ради такого случая он даже вступил в брак с внучкой Маго Артуа, невеста была на четырнадцать лет моложе своего нареченного, на что он, впрочем, не имел оснований жаловаться теперь, когда его жена достигла возраста, положенного для исполнения супружеских обязанностей.

Прибыв из Дижона, он уединился с Филиппом Валуа. Эд первым долгом поставил вопрос о наследственных правах на земли Артуа.

– Стало быть, решено, после кончины Маго графство Артуа переходит к ее дочери, вдовствующей королеве Жанне, а затем к герцогине – моей супруге? Так вот что, дорогой кузен, я особенно настаиваю на этом пункте, ибо мне отлично известно, что Робер зарится на земли Артуа, да он сам об этом на всех перекрестках кричит!

Эти принцы крови отстаивали свои права на наследство, рвали друг у друга из рук французские земли с таким же жгучим недоверием, с такой же алчностью, с какой в нищенской семье делят невестки после покойницы свекрови чашки и постельное белье.

– Суд дважды подтверждал в своем решении, что Артуа принадлежит графине Маго, – ответил Филипп Валуа. – Если в пользу Робера не найдется новых веских доказательств, Артуа, дорогой брат, отойдет вашей супруге.

– И вы не видите к тому никаких препятствий?

– Ни единого.

Вот таким-то образом благороднейший Валуа, доблестный рыцарь, герой турниров, дал двум своим кузенам два исключаящих друг друга обещания.

Впрочем, даже в вероломстве он желал остаться честным и передал Роберу свою беседу с Эдом, каковую тот не преминул одобрить.

– Самое существенное, – заявил он, – получить голос бургундца, и нам какое дело, если он вбил себе в голову, будто имеет права на мое графство, хотя прав у него никаких и нету. Ты ему говорил о новых доказательствах? Ну что ж, чудесно, добудем их, дражайший брат, так что тебе не придется нарушить свою клятву. А раз так, все идет к лучшему.

Оставалось лишь ждать последней и окончательной формальности – кончины короля Карла IV – и молить в душе господ бога, чтобы он поскорее призвал его к себе, пока еще не распался этот великолепный союз принцев крови,

сплотившихся вокруг Филиппа Валуа.

Младший сын Железного короля отдал богу душу накануне праздника Сретения господня, и новость о трауре по усопшему государю распространилась в Париже в то самое утро, когда над всем городом стоял заманчивый аромат горячих блинчиков.

Все, казалось, должно было пройти без сучка и задоринки, строго по плану, тщательно разработанному Робером Артуа, как вдруг на заре того дня, когда предстояло собраться Совету пэров, прибыл из Англии епископ, весьма невзрачный на вид. Устало оглядевшись вокруг, он вылез из забрызганных грязью носилок и поплелся во дворец отстаивать права королевы Изабеллы на французский престол.

Глава III

Совет у ложа мертвеца

Нет уже мозга в черепной коробке, нет уже сердца в грудной клетке, нет кишок в животе. Выпотрошили короля. Еще накануне бальзамировщики кончили трудиться над телом Карла IV. Но так уж ли велика была разница между теперешним Карлом IV и тем, каким был при жизни этот слабый, равнодушный ко всему, бездеятельный государь. Запоздалый ребенок, которого собственная мать звала «гусенком», а то и просто «дурачком», обманутый муж, незадачливый отец, безуспешно пытавшийся обзавестись наследником, для чего трижды вступал в брак, правитель, вечно пляшущий под чужую дудку, сначала своего дядюшки Карла Валуа, потом кого-нибудь из своих многочисленных кузенов, он был годен лишь на то, дабы утверждать своим присутствием идею королевской власти. Он и сейчас еще ее утверждал.

В дальнем конце огромной залы Венсеннского замка с рядами деревянных колонн покоилась на парадном ложе брэнная его оболочка, облаченная в лазурную королевскую, расшитую геральдическими лилиями мантию, и с короной на голове.

Баронам и пэрам, собравшимся в противоположном углу залы, видно было, как при свете бесчисленных свечей поблескивают на его ногах золотые сафьяновые сапожки.

Сейчас Карл IV возглавит свой последний Совет, так называемый «Совет в королевской опочивальне», коль скоро царствование его еще не кончилось; кончится оно официально лишь завтра, в ту самую минуту, когда тело его опустят в усыпальницу Сен-Дени.

Робер Артуа еще до начала Совета, пока поджидали запоздавших, взял приезжего из Англии епископа под свое крылышко.

– А сколько времени вы пробыли в пути? Всего двенадцать дней, и это из самого Йорка? Ого, да вы не мешкали в дороге, не служили заутрени да мессы, мессир епископ... такой аллюр впору заядлому наезднику!.. Ну а весело ли сыграли свадьбу вашего юного короля?

– По-моему, да. Впрочем, я на бракосочетании не присутствовал, я уже был в пути, – ответил епископ Орлетон.

А в добром ли здравии лорд Мортимер? Вот кто надежный друг, лорд Мортимер настоящий друг, и он, заметьте, в те времена, что жил изгнанником в Париже, часто вспоминал о монсеньоре Орлетоне.

– Рассказывал мне, как вы помогли ему бежать из Тауэра. Я лично принимал его во Франции, и благодаря мне, не скрою, он вернулся в Англию не таким слабым, каким прибыл к нам. Каждый из нас сделал, как говорится, половину дела.

А как королева Изабелла? Ах, дорогая моя кузина! Все так же ослепительно красива?

Робер с умыслом тянул время, чтобы не дать Орлетону подойти к другим группкам, помешать ему заговорить с графом Геннегау или с графом Фландрским. Он знал по слухам, каков был этот Орлетон, и не зря не доверял ему. Ведь именно его Вестминстерский двор отрядил в качестве посла к Святому престолу, и он же, как утверждали, был автором знаменитого и весьма двусмысленного послания: «Eduardum occidere nolite timere bonum est...»[24 - «Не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело» или «Эдуарда

не убивайте, бойтесь недоброго дела» (лат.).], которым воспользовались Изабелла с Мортимером, чтобы обстряпать убийство Эдуарда II.

Тогда как все французские прелаты явились на Совет в своих митрах, один лишь Орлетон остался в простой дорожной скуфье лилового шелка с горностаевыми наушниками. Робер не без удовлетворения отметил про себя это обстоятельство: когда английский прелат возьмет слово, эта самая дорожная скуфья среди золоченых митр явно умалит авторитет доверенного лица королевы Изабеллы.

– Регентом будет назначен его светлость Филипп Валуа, – шепнул Робер на ухо Орлетону, как бы поверяя великую тайну лучшему своему другу.

Орлетон промолчал.

Вот тут и появилась в проеме двери та самая персона, которую ждали, чтобы открыть заседание Совета. И персоной этой была графиня Маго Артуа, единственная женщина во всем государстве, имевшая право присутствовать на Королевских советах. Здорово она, Маго, постарела: ноги, казалось, еле выдерживали тяжесть дородного тела; шла она, опираясь на палку. Под белоснежно-седыми волосами лицо было каким-то буро-багровым. Она мотнула головой, приветствуя присутствующих, подошла к ложу, окропила святой водой усопшего и грузно опустилась в кресло рядом с герцогом Бургундским. По всей зале разносилось ее хриплое дыхание.[43 - По всей зале разносилось ее хриплое дыхание. – Этот год был для Маго д'Артуа годом болезни. Из счетов ее дома мы узнаем, что ей пришлось пускать кровь на следующий день после этого совета, 6 февраля 1328 г., и еще 9 мая и 19 октября.]

Архиепископ-примас Гийом де Три поднялся с места, повернулся сначала к телу покойного короля и, не торопясь, осенил себя крестным знаменем, потом застыл на миг в молитвенной позе, воздев очи горе, к сводчатому потолку, как бы ожидая вдохновения свыше. Шепоток в зале затих.

– Благородные мои сеньоры, – начал он, – когда прерывается естественный ход наследования и некому передать бразды правления государством, власть вновь обращается к своим истокам, коль скоро королевская власть зиждется на согласии пэров. Такова воля господина и Святой церкви, которая дает нам всем урок, выбирая из своей среды первосвященника.

Складно говорил монсеньер де Три, будто читал с амвона проповедь. Пэрам и баронам, собравшимся здесь, предстояло решить, кому следует вручить временно бразды правления государством Французским, для начала назначить регента, а затем – ибо мудрый обязан предвидеть все, – а затем облечь его королевской властью в том случае, если наиболее благороднейшая дама Франции, королева, родит дочь, а не сына.

Лучшего среди равных – *rimus inter pares*, – вот кого следует назвать регентом, и при том условии, что он узами крови теснее прочих связан с королевским домом. Разве не при подобных же обстоятельствах пэры-бароны и князья церкви некогда вручили скипетр самому мудрому и самому сильному среди них, герцогу Французскому и графу Парижскому Гуго Капету, основателю славной династии?

– Наш почивший в бозе государь, ныне еще присутствующий среди нас, – продолжал архиепископ, чуть склонив свою митру в сторону парадного ложа, – возжелал просветить и наставить нас, выразив в завещании волю свою, и назвал самого близкого своего родича, христианнейшего и доблестнейшего принца, достойного править нами и вести нас, – его высочество Филиппа, графа Валуа, Анжу и Мэна.

Христианнейший и доблестнейший принц, в ушах у которого от жестокого волнения жужжало и гудело, растерялся, не зная, как ему вести себя в такую минуту. Скромно потупить голову, уныло свесив мясистый нос, значило бы показать присутствующим, что он не слишком-то уверен в своих достоинствах и в своем праве на управление страной. А если он с вызывающе горделивым видом выпрямит стан, чего доброго, оскорбятся пэры. Поэтому он предпочел третье – застыл на месте с неподвижным лицом, уставившись на сафьяновые сапожки усопшего государя.

– Пусть каждый из вас соберется с мыслями и, вопросив свою совесть, выразит свою волю ради всеобщего блага, – закончил архиепископ Реймский.

Монсеньор Адам Орлетон поднялся первым, едва только прозвучали последние слова.

– Я уже вопросил свою совесть, – произнес он. – Я прибыл сюда, дабы передать волю короля английского, герцога Гиеньского.

Он уже давно был искушен в таких спорах, где хотя все под рукой и решено заранее, но никто не решается сказать первое слово. Вот он и поспешил воспользоваться этим к своей выгоде.

– От имени моего государя, – продолжал английский прелат, – заявляю, что ближайшая родственница покойного короля Карла Французского – это королева Изабелла, его сестра, и именно посему надлежит ей стать регентшей.

Пожалуй, один лишь Робер Артуа ждал какого-нибудь подвоха со стороны приезжего прелата, все же остальные присутствующие лишились от изумления дара речи. Пока шли предварительные переговоры, никто даже не вспомнил о королеве Изабелле, никто и мысли допустить не мог, что она пожелает предъявить свои права на французский престол. Честно говоря, о ней просто забыли. И вдруг она возникла из северных своих туманов, вызванная к жизни словами невзрачного епископа в скуфье с меховыми наушниками. А есть ли у нее и впрямь какие-то права? Члены Совета тревожно переглядывались, шепотом спрашивали мнение соседа. По всей видимости, все же да, и, если строго придерживаться прямой линии наследования, права у нее есть; но ведь с ее стороны подлинное безумие предъявлять их.

Уже через пять минут в Совете началось нечто невообразимое. Все говорили разом, даже не говорили, а кричали, не обращая внимания на то, что в зале лежит покойник.

Разве король Англии, герцог Гиеньский, который представлен здесь через своего посланца, разве забыл он, что женщины не могут править Францией, ведь такое решение еще не так давно дважды подтвердили пэры?

– Ведь верно, тетушка? – ехидно спросил Робер Артуа графиню Маго, желая напомнить ей их жаркие споры и ссоры по поводу закона наследования, принятого в угоду Филиппу Длинному, зятю графини.

Нет, монсеньор Орлетон ровно ничего не забыл; в частности, не забыл он и того, что герцог Гиеньский не присутствовал лично и не прислал своего представителя – безусловно, потому, что его с умыслом известили слишком поздно, – ни на один из тех Советов пэров, где так называемый салический закон о престолонаследии был применен не совсем правомочно и истолкован слишком расширительно. Естественно, этого никогда не одобрил бы герцог.

Не обладая елейным красноречием монсеньора Гийома де Три, Орлетон говорил по-французски не совсем изящно, прибегал к устаревшим оборотам речи, что в другую минуту и в другой обстановке могло бы вызвать усмешку на губах присутствующих. Зато он имел незаурядный опыт по части юридических споров и за ответом в карман не лез.

Мессир Миль де Нуайэ, советник при четырех французских королях, к месту вспомнивший о салическом законе и сумевший удачно применить его, незамедлительно возразил англичанину.

Коль скоро король Эдуард II присягал на верность королю Филиппу Долгорукому, он, надо полагать, считал его законным государем и тем самым одобрил закон наследования.

Но Орлетон не пожелал выслушать этого возражения. Да ничуть не бывало, мессир! Отдавая свой верноподданнический долг, король Эдуард II подтверждал этим лишь одно: герцогство Гиенское – вассальное герцогство в отношении французской короны, и никто этого опровергать не собирается, хотя за прошедшие сто лет следовало бы уточнить подлинные границы этого вассальства. Впрочем, никакого отношения это к закону престолонаследия не имеет. И выясним первым делом, о чем, в сущности, идет спор – о регентстве или о короне?

– Об обоих, об обоих разом, – вмешался епископ Жан де Мариньи. – Ибо справедливые речи держал здесь монсеньер де Три: мудрость обязана предусмотреть все, а негоже нам через два месяца вновь собираться здесь, дабы заводить все те же споры.

Маго Артуа тяжело переводила дух. Ах, как же она досадовала на свое недомогание, на этот постоянный шум в ушах и голове, мешавший сосредоточиться мыслию. Ни одно из высказанных здесь предложений отнюдь ее не устраивало. Она враждебно относилась к Филиппу Валуа, ибо поддерживать Валуа значило бы тем самым поддерживать и Робера; столь же враждебно относилась она к Изабелле, ибо до сих пор не угасла еще былая ненависть к королеве английской, в свое время погубившей ее дочерей, разоблачив тайну Нельской башни. Выждав с минуту, она заговорила:

– Если можно короновать женщину, то, уж во всяком случае, не вашу королеву, мессир епископ, а не кого другого, как мадам Жанну Младшую, а регентом при ней будет присутствующий здесь ее супруг, монсеньор д'Эвре, или его дядя, вот он сидит рядом со мной, я имею в виду герцога Эда.

Представители бургундского клана нервно шевельнулись – и герцог Бургундский, и граф Фландрский, и епископ Лаонский, и епископ Нуайонский, даже сам юный граф д'Эвре как-то приосанился.

И чудилось, будто французская корона, подвешенная здесь, под сводами залы, еще колеблется, когда и куда упасть, и каждый невольно в смутной надежде тянул к ней голову.

Филипп Валуа уже давно забыл, что выбрал для себя величественную неподвижность статуи, и показывал знаком своему кузену Роберу Артуа, что пора, мол, вмешаться. Артуа встал во весь свой рост.

– Ну и ну! – проревел он. – Как же это так получилось, что каждый нынче наперегонки спешит отречься от своих же собственных слов. Вот, к примеру, мадам Маго, возлюбленная моя тетушка, теперь уже готова признать за мадам Наваррской...

И он выделил голосом слово «Наваррской», бросив выразительный взгляд на Филиппа д'Эвре, желая напомнить ему их сговор.

– ...как раз те самые права, которые она некогда оспаривала. А благородный епископ английский ссылается на действия короля, при его же помощи низложенного с престола за слабость, нерадение и измену... Да полноте, мессир Орлетон! Как же можно всякий раз перекраивать по-новому закон в угоду той или другой партии? Сегодня он на руку одним, завтра на руку другим. Мы от души любим и уважаем мадам Изабеллу, дорогую нашу родственницу, которой кое-кто из присутствующих здесь помогал и верно служил. Но ее притязания, за которые вы так самоотверженно боретесь, просто неприемлемы. А как ваше мнение, мессире? – закончил он, призывая в свидетели пэров.

В ответ послышался одобрительный гул голосов, и горячее прочих откликнулись герцог Бурбон, граф Блуа, архиепископы Реймский и Бовезский.

Но Орлетон держал про запас еще не одно разящее оружие. Если даже допустить, что речь сейчас идет не только о регентстве, но также, возможно, и о французской короне, если даже допустить, что мы не будем оспаривать принятый ранее закон, в силу коего женщины не имеют права на французский престол, что ж, тогда он поддерживает свои требования не от имени королевы Изабеллы, но от имени ее сына Эдуарда III, единственного потомка мужеска пола по прямой линии от Капетингов.

- Но если женщина не может взойти на престол, то тем паче не может она этот престол передать! - заметил Филипп Валуа.

- Почему же, ваше высочество? Разве французские короли рождаются не от женщины?

Этот ловкий выпад вызвал кое у кого улыбку. А сам великолепный Филипп потерял дар речи. В конце концов, этот невзрачный английский епископ не так уж неправ! Тот весьма туманный обычай, на который ссылались, когда решался вопрос о наследнике Людовика X, с тех пор не применялся. И если рассуждать здраво, то коль скоро три брата сменяли друг друга на престоле, не имея потомства мужского пола, то почему бы теперь на престол не взойти сыну здравствующей ныне сестры этих королей, а не какому-то их двоюродному брату?

Граф Геннегау, до последней минуты бывший на стороне Валуа, призадумался, поняв, какая нежданная удача может выпасть на долю его дочери.

А старик коннетабль Гоше, с морщинистыми, как у черепахи, веками, приставив ладонь рожком к уху, допытывался у своего соседа Миля де Нуайэ:

- О чем это там? Что они говорят?

Слишком сложно и туманно отстаивали все свою правоту, и это его раздражало. Вот уже двенадцать лет как он твердо держался своего прежнего мнения о правах престолонаследия женщин. И впрямь именно он провозгласил салический закон, сумев объединить вокруг себя пэров и бросив знаменитую фразу: «Не гоже лилиям прясть; Франция слишком благородное королевство, чтобы стать угодьем женщин».

Но Орлетон не умолкал, все еще надеясь тронуть слушателей. Он умолял пэров не забывать, что ныне представляется редчайший случай, какой, возможно, никогда более не повторится в веках, – объединить оба государства в единую державу. Ибо именно в этом и заключался его заветный замысел. Конец вечным распрям; конец весьма неопределенным клятвам вассалов на верность своему ленному сеньору; конец войнам в Аквитании, от которых страждут обе страны; конец бессмысленному коммерческому соперничеству, из-за которого кипит вся Фландрия! Единый и неделимый народ по обе стороны моря. Разве вся английская знать не французского корня? Разве при обоих дворах не принят французский язык? Разве многие французские сеньоры не унаследовали угодий в Англии, равно как английские бароны владеют сейчас землями во Франции?

– Что ж, давайте нам Англию, мы не откажемся, – насмешливо заметил Филипп Валуа.

Коннетабль Гоше де Шатийон, приставив ухо прямо к губам Миля де Нуайэ, внимательно слушал пересказ речи Орлетона и наливался краской гнева. Как так? Английский король желает стать регентом? А затем ему и корону подавай! Выходит, что он, Гоше, зря потел под беспощадным солнцем Гаскони, зря месил непролазную грязь на севере страны, сражаясь с этими дрянными фламандскими суконщиками, которых всегда поддерживала Англия, значит, зря погибло столько доблестных рыцарей, зря истрачено столько податей и налогов – значит, все это, выходит, ни к чему? Да над ними просто издеваются!

Даже не потрудившись подняться с места, он крикнул хоть и стариковским, но все еще мощным голосом, охрипшим от гнева:

– Никогда Франция не будет английской, и тут уж неважно, идет ли речь об особах мужского или женского пола, и не время выяснять, передается ли корона через чрево или нет! А потому Франция не будет английской, что бароны этого не потерпят! За мной, Бретань! За мной, Блуа! За мной, Невер! За мной, Бургундия! Да как вы можете даже слушать такое? У нас есть король, которого завтра предадут земле, это уже шестого на моей памяти, и все они водили под своими знаменами войска против Англии или тех, кого она поддерживала. У того, кто правит Францией, должна течь в жилах французская кровь. И хватит вам слушать такие вздоры, да ведь мой конь, и тот бы расхохотался...

Он скликал Бретань, Блуа, Бургундию все тем же громким голосом, каким некогда скликал военачальников, готовясь к бою.

– Даю вам по праву старейшего добрый совет: пусть граф Валуа, как самый близкий к трону человек, будет регентом, хранителем и правителем государства.

И он поднял руку, как бы желая подчеркнуть важность своих слов.

– Хорошо сказано! – поторопился одобрить старика Робер Артуа, тоже вскинув свою огромную ручищу и приглашая взглядом сторонников Филиппа последовать его примеру. Теперь он чуть ли не с раскаянием думал, что по его настоянию старика коннетабля обошли в королевском завещании.

– Хорошо сказано! – хором подхватили за ним герцоги Бурбонский и Бретонский, граф де Блуа, граф Фландрский, граф д'Эвре, епископы, сановники государства и граф Геннегау.

Маго Артуа вопросительно взглянула на герцога Бургундского, но, увидев, что он тоже поднял руку, быстро подняла свою, боясь остаться последней.

Не поднялась только одна рука – рука Орлетона.

Филипп Валуа, вдруг ослабевший от пережитого волнения, твердил про себя: «Дело сделано, дело сделано!» Но размышления Филиппа прервал голос архиепископа Гийома де Три, его старинного духовника:

– Долгих дней регенту государства Французского на благо народа и Святой нашей церкви!

Канцлер Жан де Шершемон уже заготовил бумагу, и это означало, что Совет закрывается и споры окончены – оставалось лишь вписать имя. Огромными буквами канцлер начертал «всемогущий, благороднейший, и грозный сеньор Филипп, граф Валуа» и пустил бумагу по кругу, дабы каждый мог прочесть этот акт, не только утвердивший Филиппа в звании регента, но и подразумевавший, что, ежели у Карла IV родится дочь, регент станет королем Франции.

Все присутствующие скрепили этот документ своей подписью и личной печатью; все, за исключением герцога Гиеньского, другими словами, представлявшего его монсеньора Адама Орлетона, который отказался это сделать. заявив:

– Никогда не следует отказываться защищать свои права, даже зная, что победы не добиться. Будущее необозримо, и все мы в руце божьей.

Филипп Валуа, приблизившись к ложу покойного, уставился на своего усопшего родича, вернее, на корону, сползшую на восковой лоб, на длинный золотой скипетр, лежащий сбоку в складках мантии, на поблескивавшие при свете свечей сапожки.

Присутствующие решили, что он молится, и все почувствовали невольное уважение к новому регенту.

Робер Артуа подошел к Филиппу и шепнул ему:

– Если бы твой отец видел тебя сейчас, вот бы порадовался, бедняга... Но ждать-то нам еще целых два месяца.

Глава IV

Король-подкидыш

В те давно прошедшие времена принцы крови имели особое пристрастие к карликам. Поэтому в бедных семьях считалось чуть ли не счастьем, когда у них рождался уродец: по крайней мере можно рассчитывать на то, что в один прекрасный день такого уродца охотно купит какой-нибудь знатный сеньор, а то и сам король.

Ибо карлик – и никто в том даже усомниться не желал – некое промежуточное существо, не то человек, не то комнатная собачонка. Собачонка потому, что на него как на самого настоящего дрессированного пса можно надеть ошейник, вырядить в нелепое одеяние, а при случае пхнуть его ногой в зад; человек – коль скоро он наделен даром речи и за стол и небольшое вознаграждение охотно согласен играть эту унижительную роль. Он обязан по приказу господина балагурить, скакать на одной ножке, хныкать или лепетать, как малое дитя, любой вздор, даже тогда, когда волосы убелит седина. Он так мал, что хозяин чувствует себя особенно значительным

и большим. Его передают по наследству от отца к сыну вместе со всем прочим добром. Он словно бы символизирует своей персоной «подданного», как существо, самой природой предназначенное покоряться чужой воле и вроде бы нарочно созданное, дабы свидетельствовать о том, что род людской делится на разные колена, причем некоторые из них имеют неограниченную власть над всеми прочими.

Однако в этом умалении были и свои преимущества: самому крохотному, самому слабенькому, самому уродливому уготовано место среди тех, кто привык сладко есть и щеголять в роскошных одеяниях. И равно этому убогому созданию дозволено и даже вменяется в обязанность говорить в глаза своему хозяину – человеку высшей расы – то, что не потерпел бы он ни от кого другого.

То, что каждый, даже искренне преданный человек, в мыслях своих адресует порой тому, кто командует им, – все эти потаенные насмешки, упреки, оскорбления – карлик выпаливает вслух, как бы по доверенности от всего клана униженных.

Существует два типа карликов: одни длинноносы, с печальными лицами и украшены двумя горбами – спереди и сзади, другие, напротив, круглолицы, курносы, с великолепно развитым торсом, который посажен на коротенькие кривые ножки. Карлик Филиппа Валуа, Жан Дурачок, принадлежал ко второму типу. Ростом он был не выше столешницы. Носил колпак с бубенчиками, и на плечах его шелкового платица тоже были нашиты бубенчики.

Это он как-то сказал Филиппу Валуа, хихикая и кривляясь по обыкновению:

– А знаешь, государь, как тебя зовут в народе? Зовут тебя «король-подкидыш»!

Ибо в страстную пятницу, 1 апреля 1328 года, мадам Жанна д'Эвре, вдова короля Карла IX, наконец-то разрешилась от бремени. Редкостный в истории случай: никогда еще пол младенца, только что вышедшего из лона матери, не рассматривали с таким вниманием. И, лишь убедившись, что это девочка, присутствующие вздохнули с облегчением, и каждый счел, что сам господь бог выразил тем волю свою.

Баронам не пришлось пересматривать решение, принятое в день Сретения господня. Наспех был собран Совет, где один лишь представитель Англии

поднял из принципа свой голос против и где все остальные единодушно возвели на престол Филиппа Валуа.

В свою очередь вздохнул с облегчением и народ. Казалось, теперь наконец потеряло силу проклятие Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Молэ. С древа Капетингов отпала старшая ветвь, да и дала она лишь три жалких, быстро засохших ростка.

В любой семье отсутствие сына всегда считалось бедой или же знаком слабости. А для королевского дома тем паче. То обстоятельство, что все три сына Филиппа Красивого не были способны произвести на свет потомство мужского пола, казалось всем отголоском кары. Теперь древо могло спокойно начать свой рост с корня.

Когда внезапное лихорадочное возбуждение охватывает народы, причины его надобно искать в расположении светил небесных; ибо все другие объяснения тут несостоятельны: такова, например, волна истерической жестокости, вызвавшая крестовый поход «пастушков» и избиение прокаженных, или волна полубредового ликования, какое сопровождало вступление на престол Филиппа Валуа.

Новый король был статен и обладал мужской силой, столь необходимой основателю династии. Его первый ребенок, мальчик, уже достиг возраста девяти лет и отличался крепким сложением; была у него также и дочь, и все знали, ибо из таких вещей двор тайны не делает, что почти каждую ночь новый король восходил на ложе супруги своей Хромоножки, проявляя при этом прежний, не угасший с годами пыл.

Голосом природа наделила его сильным и звучным, не был он ни бормотуном, как его двоюродные братья Людовик Сварливый или Карл IV, ни молчальником, как Филипп Красивый или Филипп V. Кто мог противиться ему в чем бы то ни было, кого можно было ему противопоставить? Кому бы пришла охота в эти дни веселья, охватившего всю Францию, прислушиваться к голосу десятка явно подкупленных Англией ученых правоведов, пытавшихся, впрочем довольно вяло, обосновать свои возражения против его избрания?

Филипп VI вступил на престол, так сказать, с всеобщего одобрения.

И тем не менее он был король, что называется, на случай, королевский племянник, кузен короля, а таких вокруг трона всегда целая куча; просто человек, которому повезло больше, чем всем прочим его родичам; не король, отмеченный богом еще при рождении, не король, дарованный свыше, а король-подкидыш, найденный в тот самый день, когда настоящего короля не оказалось под рукой.

Это словцо, изобретенное на парижских улицах, отнюдь не умалило всеобщего доверия и радости: толпе нравится такими вот насмешливыми словечками выражать свои чувства, что создает иллюзию близости с сильными мира сего. Жан Дурачок, передавая эти слова Филиппу, имел полное право на эту шутовскую выходку, грубость которой он еще подчеркивал, хлопая себя по ляжкам и пронзительно взвизгивая, но, так или иначе, он произнес ключевое слово целой человеческой судьбе.

Ибо Филипп Валуа, как и всякий выскочка, желал доказать, что он вполне достоин нового сана, доставшегося ему в силу его природных качеств, и вполне соответствует тому образу, какой составили себе люди о подлинном монархе. И коль скоро король самолично творит суд и расправу, он через три недели после вступления на престол послал на виселицу казначея последнего царствования Пьера Реми, потому что, по словам наветчиков, тот изрядно порастряс государственную казну. А когда вздергивают министра финансов, это всегда приятно толпе, и французы поздравляли друг друга: наконец-то у них такой справедливый король.

Считается обязанностью и долгом каждого государя защищать христианскую веру. Филипп издал эдикт, по которому на богохульников накладывалась двойная пеня и равно усиливалась власть инквизиции. Тем самым он угодил крупному и мелкому духовенству, а также дворянчикам и ханжам: какой же у нас благочестивый король!

Обязан государь также оплачивать оказываемые ему услуги. А сколько услуг потребовалось Филиппу, чтобы выборы в Совете пэров прошли гладко! Но король в равной мере обязан зорко следить за тем, чтобы те, кто считались верными блюстителями общественного блага при его предшественниках, не перешли бы в стан врагов. Вот почему, коль скоро почти все бывшие сановники и высшие должностные лица остались на своих прежних местах, пришлось срочно создавать новые должности или назначать на старые еще по одному человеку из тех, кто поддержал новое правление, и удовлетворять просьбы лиц,

способствовавших восшествию Валуа на престол. А так как дом Валуа уже давно жил на королевскую ногу, то теперь, когда было бы просто стыдно отстать от роскошного образа жизни бывшей династии Капетингов, началась оголтелая погоня за должностями и бенефициями. Король у нас человек щедрый!

Государь, наконец, обязан заботиться о благосостоянии своих подданных. И Филипп VI с маху уменьшил, а в иных случаях даже совсем отменил налоги, введенные при Филиппе IV и Филиппе V, на коммерческие операции, на рыночную торговлю и на торговые сделки с чужестранцами – подать, которая, по мнению тех, коих ею облагали, лишь подрывала коммерцию и рынок.

Ох, до чего же хорош у нас король, утихомиривший назойливых сборщиков податей в пользу казны! Ломбардцы, давнишние заимодавцы покойного батюшки нового короля, который и сам был им должен немалые деньги, благословляли его имя. Никто даже не подумал, что фискальные законы прежних царствований оказывали свое действие лишь постепенно, и если Франция была богата, если здесь жили лучше, чем в любой другой стране, если одевались в добротное сукно, а то и в меха, если чуть ли не в лачугах были бани и чаны для мытья, то всем этим народ был обязан предшественникам Валуа, сумевшим навести порядок в государстве, унифицировать монету, дать каждому возможность свободно трудиться на своем поприще.

Король... король обязан быть также человеком мудрым, во всяком случае самым мудрым среди своих подданных. И Филипп начал изрекать своим звучным, от природы хорошо поставленным голосом различные истины, причем более изощренное ухо узнавало в них отголоски проповедей королевского наставника Гийома де Три.

– Мы всегда голосу разума внимаем, – говаривал он в тех случаях, когда не знал, какое следует принять решение.

А если он ошибался, что случалось с ним частенько, и вынужден бывал отменять то, что приказал сделать накануне, он самоуверенно заявлял:

– Наиразумнейше менять собственные свои решения.

– Во всех случаях лучше упредить, чем упреженну быть, – высокопарно изрекал сей король, который в течение всех двадцати двух лет своего правления

без конца сталкивался с неожиданностями, одна плачевнее другой!

Никогда еще ни один монарх не наболтал в своей жизни столько пошлостей и с таким многозначительным видом. Кругом считали, что он мыслит, а на самом деле он думал о том, какое бы изречение ему сейчас высказать, дабы создалось впечатление, будто он и впрямь размышлял, но голова у него была пустая, как высохший орех.

Король, настоящий король, – не забыть бы главного – должен быть доблестным и храбрым и жить в роскоши! На самом-то деле Филипп имел лишь один талант – отменно владел оружием. Нет, не на войне, а просто в турнирных состязаниях на копьях и мечах. В качестве наставника молодых рыцарей он был бы, что называется, незаменим при дворе какого-нибудь барончика. Но коль скоро он стал владыкой Франции, его королевское жилище напоминало замок из романов Круглого стола, которыми зачитывались в ту эпоху и которыми была забита его голова. Турнир за турниром, празднества, пиры, охота, различные увеселения, а потом снова турниры, целые леса страусовых перьев на шлемах, и кони, убранные богаче, чем придворные дамы.

Филипп весьма усердно занимался делами государственными, отводя им ровно час в день после очередного состязания, откуда он возвращался весь в поту, или очередного пиршества, откуда он возвращался с набитым брюхом и сильно затуманенной головой. Его канцлер, королевский казначей, многочисленные сановники принимали решения за него или шли за приказаниями к Роберу Артуа. А тот и впрямь тратил на управление страной больше времени и сил, нежели сам король.

При любом затруднении Филипп вызывал к себе Робера для совета, и поэтому все безоговорочно повиновались графу Артуа, зная, что любое его распоряжение будет одобрено королем.

Так дело и шло, и наконец весь двор отправился на коронацию, где архиепископ Гийом де Три должен был возложить корону на главу бывшего своего питомца. Праздник, пришедшийся на конец мая, длился целых пять дней.

Казалось, все королевство собралось в Реймсе. Да и не только королевство, но также и половина Европы, в том числе великолепный и полностью обнищавший король Богемии Иоганн, граф Вильгельм Геннегау, маркиз

Намюрский и герцог Лотарингский. Целых пять дней увеселений и пирушек, про такое изобилие и про такие траты реймские горожане еще никогда и не слыхивали. Они, которым пришлось покрыть все расходы на устройство празднеств, они, которые брюзжали по поводу непомерных затрат на последние коронавания, на сей раз с дорогой душой доставляли все в двойных, тройных количествах. Впервые за последнюю сотню лет в королевстве Французском было выпито столько: вино и еду развозили на лошадях по дворам и площадям.

Накануне коронавания король с превеликой pompой посвятил в рыцари Людовика де Креси, графа Фландрского и Неверского. Решено было, что меч Карла Великого во время торжественной церемонии коронавания будет держать граф Фландрский и затем передаст его новому монарху. Все руками развели, как это коннетабль согласился столь безропотно отказаться от обряда, который по установленной традиции выполнял именно он. Да еще пришлось посвятить для этого графа Фландрского в рыцари. Но мог ли Филипп VI с большим размахом засвидетельствовать перед всем светом, какую горячую дружбу питает он к своему фландрскому родичу?

А на следующий день, когда в соборе уже шла торжественная церемония, когда главный королевский камергер Людовик Бурбон уже обул Филиппа в сапожки, расшитые королевскими лилиями, после чего крикнул графа Фландрского, которому полагалось подать меч, тот даже не шелохнулся.

– Мессир граф Фландрский! – повторил Людовик Бурбон.

И по-прежнему Людовик де Креси не тронулся с места и стоял со скрещенными на груди руками.

– Мессир граф Фландрский, – снова поднял голос герцог Бурбон, – ежели вы присутствуете здесь или кто-то уполномочен присутствовать здесь от вашего имени, сообразуйте выполнить долг ваш, иначе вы нарушите его.

Под сводами собора застыла мертвая тишина, прелаты, бароны и сановники переглядывались с испуганно-удивленным видом; один лишь король даже бровью не повел, да Робер Артуа, сопя, закинул голову вверх, будто его вдруг ужасно заинтересовала игра лучей, пробивавшихся сквозь витражи.

Наконец граф Фландрский соблаговолил выступить вперед, приблизился к королю и, склонившись перед ним, проговорил:

– Сир, ежели бы кликнули графа Неверского или графа де Креси, я немедленно подошел бы к вам.

– Но почему же, мессир, почему, – спросил Филипп VI, – разве вы не граф Фландрский?

– Сир, по титулу граф, но пока что я не извлек из этого ровно никакой пользы.

Вот тут-то Филипп VI и принял самый что ни на есть королевский вид, выпятил грудь, оглядел собор смутным взглядом и, нацелившись своим внушительным носом на собеседника, изрек хладнокровным тоном:

– Что вы такое говорите, кузен?

– Сир, – отвечивал граф, – жители Брюгге, Ипра, Поперинга и Касселя выдворили меня прочь из моих ленных владений и не считают меня более ни своим графом, ни своим сеньором; хорошо еще, что мне, преодолев многие трудности, удалось бежать в Гент, ибо весь край охвачен мятежом...

Тут Филипп Валуа пристукнул своей огромной ладонью по подлокотнику трона – жест этот он не раз замечал у Филиппа Красивого, и сейчас повторил его бессознательно, ибо в глазах его покойный дядя был подлинным воплощением величия.

– Людовик, дражайший мой кузен, – произнес он отдельно и звучно, – для нас вы граф Фландрский, и клянусь святым помазанием и великим таинством, свершающимся ныне, не знать ни отдыха, ни срока, пока мы не вручим вам в полное владение ваше графство.

Граф Фландрский преклонил перед королем колена.

– От всей души благодарю вас, сир.

И церемониал пошел обычным порядком.

Робер Артуа многозначительно подмигнул своим соседям, давая им понять, что вся эта якобы непредвиденная заминка была задумана заранее. Филипп VI сдержал свои обещания, данные им через Робера при вербовке сторонников. В тот же день Филипп д'Эвре появился в мантии, украшенной гербами короля Наварры.

Сразу же после коронации Филипп VI собрал пэров и баронов, принцев королевской крови, иноземных сеньоров, прибывших на церемонию миропомазания, и так, словно бы дело не терпит даже минуты задержки, установил вместе с ними точный день, когда начнется усмирение фландрских мятежников. Священный долг каждого доблестного государя – защищать права своих вассалов! Кое-кто из людей осмотрительных, здраво рассудив, что весна уже кончается и что войско будет собрано лишь к осени, то есть в самый разгар дождей – они до сих пор не забыли «грязевого похода», затеянного Людовиком Сварливым, – присоветовали государю отложить экспедицию на год. Но старик коннетабль Гоше пристыдил их и крикнул трубным своим голосом:

– Для того, кому по сердцу бранные труды, погода всегда подходящая!

Ему уже стукнуло семьдесят восемь, и он недаром поэтому так торопился возглавить последнюю свою кампанию и, надеясь перехитрить судьбу, согласился на то, чтобы не он лично, а граф Фландрский вручил королю меч Карла Великого.

– Да и англичанишки, которые мутят воду в этом краю, получают неплохой урок, – проворчал он в заключение.

Разве не читали все собравшиеся здесь под сводами Реймского собора в рыцарских романах повествование о подвигах восьмидесятилетних героев, опрокидывающих в честном бою неприятеля и способных раскроить ему мечом шлем да и череп заодно? Неужели бароны уступят в отваге этому старцу, этому заслуженному воину, которому не терпится отправиться в поход вместе со своим шестым королем?

Поднявшись с трона, Филипп Валуа возгласил:

– Кто любит меня, пойдет за мной!

Среди единодушного восторженного ликования, вызванного этими словами, решено было начать поход в конце июля, и как бы случайно начать с Арраса. Таким образом, Робер, воспользовавшись подходящим случаем, сумеет расшевелить графство своей тетушки Маго.

И действительно, в начале августа французы вошли во Фландрию.

Некий горожанин по имени Заннекен имел под командой пятнадцать тысяч человек – ополченцев Вёрне, Дисмейдена, Поперинга и Касселя. Желая показать, что, мол, и ему ведомы воинские обычаи, он послал картель королю Франции, где просил назначить день битвы. Но Филипп пренебрег этим картелем, равно как и этим мужланом, который смеет корчить из себя принца крови, а повелел ответить фламандцам, что, коль скоро у них нет военачальника, пусть защищаются, как могут и как хотят. Вслед за чем отрядил двух маршалов: Матье де Три и Робера Бертрана, прозванного Рыцарь Зеленого Льва, – с приказом предать огню окрестности Брюгге.

Когда маршалы вернулись после этой военной операции, их встретили кликами восторга: каждому радостно было полюбоваться зрелищем полыхающих вдали нищенских домишек. А рыцари в богатом одеянии, даже не при оружии, переходили от шатра к шатру, с аппетитом вкушали яства под расшитыми золотом знаменами и играли со своими приближенными в шахматы. Французский лагерь и впрямь походил на лагерь короля Артура, каким изображается он в книжках с картинками; и каждый барон отождествлял себя кто с Ланселотом, кто с Гектором, а кто с Галаадом.

Но случилось так, что, когда наш доблестный монарх, предпочитавший, по собственным его словам, упреждать, чем упреженну быть, весело пировал в компании приближенных, в лагерь ворвалось пятнадцать тысяч фламандцев. Они потрясали знаменами, на которых был изображен петух, а под ним красовалась дерзкая надпись:

Когда сей кочет запоет,

Король-подкидыш Фландрию возьмет.

В течение нескольких минут они разграбили добрую половину французского лагеря, перерезали веревки, державшие шатры, сбрасывали наземь шахматные доски, опрокидывали пиршественные столы, а заодно порубили немало

сеньоров.

Французская пехота обратилась в бегство: страх гнал ее без передышки вплоть до Сент-Омера – другими словами, целых сорок лье. А король успел только накинуть на кольчугу плащ, украшенный гербами Франции, натянуть на голову шлем белой кожи и вскочить на своего боевого коня, дабы последовать примеру героев рыцарских романов.

В этой битве обе неприятельские стороны совершили непростительный промах, и обе в силу тщеславия. Французские рыцари презирали фламандское мужичье; а фламандцы, желая доказать, что, мол, и они настоящие воины и ничуть не уступают высокородным сеньорам, облеклись в воинские доспехи, но в атаку они пошли пешие!

Граф Геннегау и его брат Иоганн, чьи войска были расположены в стороне, первыми устремились на фламандцев с фланга и расстроили их атаку. Французские рыцари, поднятые в бой королем, наконец-то смогли обрушиться на вражескую пехоту, скованную в своих действиях тяжелыми, зато великолепными рыцарскими доспехами, опрокинуть ее, топтать копытами своих мощных боевых коней, крушить и убивать. Эти благородные Ланселоты и Галаады, впрочем, только налетали на своих противников и оглушали их, предоставляя храбрым оруженосцам приканчивать побежденных ударом кинжала. Того, кто пытался бежать, сметала конница; тому, кто пытался сдаться на милость победителя, тут же перерезали глотку. В тот день полегло тринадцать тысяч фламандцев, и на поле боя высилась воистину сказочная груда железа и трупов, и, к чему бы ни прикоснулась человеческая рука, к траве ли, к упряжи ли, к человеку или животному, она окрашивалась алой кровью.

Битва при Касселе, начавшаяся беспорядочным бегством, окончилась полной победой Франции. О ней уже говорили как о новой битве при Бувине.

А ведь истинным победителем был не король, не старый коннетабль Гоше, не Робер Артуа, с какой бы отвагой они, подобно горному обвалу, ни обрушивались на вражеские ряды. Французов спас граф Вильгельм Геннегау. Но всю славу пожал его шурина – Филипп VI.

Столь могущественный владыка, как Филипп, теперь уж не мог терпеть ни малейшего нарушения традиционного выражения покорности со стороны своих вассалов. Поэтому королю английскому, герцогу Гиеньскому было незамедлительно отправлено послание с требованием прибыть во Францию и принести вассальную присягу верности, да не мешкать по-пустому.

Никогда еще не было спасительных поражений, зато бывают роковые победы. Эти несколько дней под Касселем дорого обошлись Франции, ибо породили во множестве ложные идеи: во-первых, французы уверовали, что новый король непобедим и, во-вторых, что пехота ничего не стоит в бою. Двадцать лет спустя разгром французских войск при Креси будет прямым следствием этого заблуждения.

А пока что и те, кто собирал под свои знамена людей, и те, кто просто действовал копьем, и даже самый захудалый конюший с высоты седла жалостливо поглядывали на копошащихся внизу людишек, вышедших на поле брани пешими.

Той же осенью в середине месяца октября в возрасте тридцати пяти лет скончалась в своем жилище, в старинном отеле Тампль, Клеменция Венгерская, злосчастная королева, вторая супруга Людовика Сварливого. Она оставила столько долгов, что уже через неделю после ее кончины, по требованию итальянских займодавцев Барди и Толемеи, все ее имущество – перстни, короны, драгоценности, мебель, белье, ювелирные изделия и даже кухонная утварь – пошло с торгов.

Старик Спинелло Толемеи, волочивший ногу, выставив солидное свое брюшко, по обыкновению прикрыв один глаз и широко открыв другой, самолично пожаловал на эту распродажу, где шестеро золотых дел мастеров, они же оценщики, назначенные королем, определяли цену каждого предмета. И все, что дал королеве Клеменции лишь один краткий год непрочного счастья, все пошло прахом, все развеялось как дым.

Целых четыре дня подряд оценщики Симон де Клокет, Жан Паскон, Пьер из Безансона и Жан из Лилля громогласно возглашали:

– Золотая шляпа[44 - Золотая шляпа. – В средние века это обозначение использовалось параллельно со словом «корона». Равным же образом в ювелирном ремесле слово «палец» означало кольцо.] с четырьмя крупными розовыми рубинами – баласами, четырьмя крупными изумрудами, шестнадцатью мелкими рубинами, шестнадцатью мелкими изумрудами и восемью александрийскими рубинами, оценена в шестьсот ливров. Куплена королем!

– Перстень с четырьмя сапфирами, из коих три имеют квадратную форму, а один кабошон, оценен в сорок ливров. Куплено королем!

– Перстень с шестью восточными рубинами, тремя изумрудами квадратной формы и тремя смарагдами оценен в двести ливров. Куплен королем!

– Позолоченная серебряная миска, двадцать пять кубков, два блюда, одна чаша – оценено в двести ливров. Куплено его светлостью Робером Артуа, графом Бомон!

– Дюжина позолоченных кубков с финифтью, украшенных гербами Франции и Венгрии, большая позолоченная солонка на подставке в виде четырех обезьян, все вместе за четыреста пятнадцать ливров. Куплено его светлостью Робером Артуа, графом Бомон!

– Кошель, как снаружи, так и с изнанки расшитый золотом и жемчугом, а с внутренней стороны кошель вставлен восточный сапфир. Оценено в шестнадцать ливров. Куплено королем!

Торговая компания Барди приобрела самую дорогую вещь: перстень Клеменции Венгерской с огромнейшим рубином, оцененный в тысячу ливров. Впрочем, Барди и не собирались за него платить, коль скоро стоимость перстня шла в частичное погашение долга покойной, к тому же они не сомневались, что смогут перепродать его папе, который сказочно разбогател теперь, хотя в свое время тоже был их должником.

Робер Артуа, желая показать публике, что всякие там кубки и прочая посуда для вина не самая главная его забота, приобрел за тридцать ливров Библию на французском языке.

Церковное облачение, подрясники и стихари купил епископ Шартрский.

Ювелир Гийом Фламандец по дешевке приобрел золотой столовый прибор усопшей королевы.

За ее лошадей выручили шестьсот девяносто два ливра. Карета мадам Клеменции, равно как и карета ее придворных дам, тоже пошла с молотка.

И когда все до последней мелочи было вынесено из отеля Тампль, присутствующим почудилось, будто навсегда закрылись двери этого проклятого богом дома.

И впрямь получалось так, словно в нынешнем году прошлое угасало само по себе, расчищая место новому царствованию. В ноябре месяце скончался епископ Аррасский, Тьерри д'Ирсон, канцлер графини Маго. В течение тридцати лет был он советником графини, в свое время также и ее любовником, и верным ее слугой, всегда и везде, где только затевала она интригу. Вокруг Маго замкнулся круг одиночества. А Робер Артуа назначил в Аррасскую епархию некоего Пьера Роже, священнослужителя[45 - ...некоего Пьера Роже, священнослужителя... - Пьер Роже, перед тем аббат Фекамский, участвовал в переговорах между Парижским и Лондонским дворами, до Амьенского оммажа. Был назначен в Аррасское епископство 3 декабря 1328 г. в замещение Тьерри д'Ирсона; потом был последовательно архиепископом Санским, архиепископом Руанским; и, наконец, в 1342 г. по смерти Бенедикта XII был избран Папой. Правил под именем Клементя VI.], преданного дому Валуа.

Все поворачивалось к Маго черной стороной, и все благоприятствовало Роберу, кредит которого непрерывно рос и который добился высших почестей в государстве.

В январе месяце 1329 года Филипп VI сделал графство Бомон-ле-Роже пэрством; тем самым Робер становился пэром Франции.

Коль скоро король Англии что-то медлил приносить свою вассальную присягу, решено было вновь захватить герцогство Гиеньское. Но прежде чем приступить к военным действиям, отрядили Робера Артуа в Авиньон, дабы добиться поддержки папы Иоанна XXII.

Две волшебные прекрасные недели провел Робер на берегах Роны. Ибо Авиньон, куда стекалось все золото христианского мира, являл собой для того, кто любит хорошо поесть, поиграть в зернь и позабавиться с веселыми прелестницами, град несравнимых утех под властью восьмидесятилетнего папы-аскета, с головой погруженного в дела финансовые, политические и теологические.

Святой отец охотно давал новоиспеченному пэру Франции аудиенцию за аудиенцией; в папском дворце в честь Робера устроили пир, и королевский посланец достойно поддерживал беседу с кардиналами. Но верный склонностям бурной своей юности, он завязал также знакомство с разным сбродом. Где бы Робер ни появлялся, он тут же и без всяких усилий со своей стороны привлекал к себе то девицу легкого поведения, то юнца дурных наклонностей, то преступника, ускользнувшего из лап правосудия. Пусть в городе имелся один-единственный скупщик краденого, Робер обнаруживал его уже через четверть часа. Монах, изгнанный из ордена после какого-нибудь крупного скандала, причетник, обвиненный в краже или клятвopреступлении, с самого утра толклись в его прихожей, надеясь найти в Робере защитника и покровителя. На улицах его то и дело приветствовали прохожие с весьма подозрительными физиономиями, и он еще долго, но тщетно старался припомнить, где же, в каком именно притоне, какого именно города, он в свое время встречался с ними. И впрямь он внушал доверие самому разнокалиберному сброду, и то обстоятельство, что ныне он стал вторым лицом в государстве Французском, ничуть не меняло дела.

Бывший его слуга Лорме ле Долуа был слишком стар для долгих путешествий и уже не сопровождал своего господина. Но ту же самую роль и те же самые обязанности выполнял теперь при Робере Жилле де Нель и, хоть был он значительно моложе Лорме, успел пройти ту же школу. Не кто иной, как Жилле, загнал в сети его светлости Робера некоего Масио Алемана, оставшегося не у дел судейского пристава, готового на любое и, что самое существенное, бывшего родом из Арраса. Оказалось, этот самый Масио отлично знал епископа Тьерри д'Ирсона – дело в том, что епископ Тьерри на склоне лет своих завел себе подружку и для души и для ложа, некую Жанну Дивион, бывшую на добрых двадцать лет моложе своего возлюбленного; теперь, после смерти епископа, она жалуется на всех перекрестках, что графиня Маго чинит ей, мол, разные неприятности. Если его светлость пожелает поговорить с этой дамой Дивион... Еще и еще раз Робер Артуа убеждался в том, сколь многое могут вам поведать люди, не пользующиеся никакой репутацией или пользующиеся довольно скверной. Конечно, пристав Масио не тот человек, которому можно спокойно доверить свой кошелек, зато он знает много весьма и весьма занятных вещей.

Поэтому его обрядили в новое платье, дали ему добрую лошадку и отправили на север.

Вернувшись в марте месяце в Париж, Робер, радостно потирая руки, утверждал, что скоро в графстве Артуа произойдут кое-какие перемены. Намеками он давал понять, что епископ Тьерри в свое время утаил королевские эдикты в интересах графини Маго. Десятки раз порог его кабинета переступала какая-то женщина с низко надвинутым на лоб капюшоном, и он вел с ней долгие секретные переговоры. С каждой неделей он становился все веселее, все увереннее в себе и громогласно утверждал, что враги его не сегодня-завтра будут повержены в прах.

В апреле месяце английский двор, уступив настояниям папы, вновь прислал в Париж епископа Орлетона в сопровождении многочисленной свиты – целых семьдесят два человека, – тут были знатные сеньоры, и прелаты, и ученые правоведы, и писцы, и слуги, а целью его приезда было выторговать наиболее приемлемую форму принесения вассальной присяги. Словом, собирались заключить настоящий договор.

Дела государства Английского шли не слишком-то блестяще. Авторитет лорда Мортимера не только не вырос, но значительно упал после того, как он под угрозой вооруженных солдат сгонял пэров для обсуждения важнейших вопросов и точно таким же манером принуждал заседать парламент. Пришлось ему также подавить мятеж баронов, поднявшихся против него с оружием в руках и группировавшихся вокруг Генри Ланкастера Кривая Шея, так что Мортимеру, управлявшему страной, приходилось сталкиваться с непомерными трудностями.

В начале мая отошел в лучший мир доблестный Гоше де Шатийон на пороге славного своего восьмидесятилетия. Появился на свет он еще при Людовике Святом и целых двадцать семь лет верно служил своим королям, выполняя обязанности коннетабля. Не раз громовой его голос предрешал исход битвы, а равно клал конец спорам на королевских Советах.

Двадцать шестого мая юный король Эдуард III, заняв по примеру отца пять тысяч ливров у ломбардских банкиров с целью покрыть дорожные расходы, сел в Дувре на корабль, дабы принести венценосному кузену, королю Франции, свою вассальную присягу.

Его не сопровождали ни его мать Изабелла, ни лорд Мортимер, справедливо опасавшиеся, как бы во время их отсутствия власть не перешла в другие руки. Так что шестнадцатилетний король Англии, порученный попечениям двух епископов, один отправился к самому блестящему двору во всей Европе.

Ибо Англия была слаба, разъединена, а Франция имела все. Не было в целом христианском мире более могущественной державы. Да и как было не завидовать этому процветающему государству с многочисленным населением, столь богатому различными промыслами, со столь успешно развивающимся сельским хозяйством, этому государству, руководимому пока еще опытными людьми и пока еще деятельной знатью; и король-подкидыш, правящий страной уже целый год, пожинаяющий лишь победы да успехи, вызывал всеобщую зависть, как ни один другой король в целом свете.

Глава V

Гигант перед зеркалами

Ему хотелось не только показать себя людям, но и самому на себя наглядеться. Хотелось, чтобы его супруга, красавица графиня, чтобы все его трое сыновей – Жан, Жак и Робер, старшему из которых уже минуло восемь и который уже сейчас был не по возрасту высок и крепок, – чтобы его конюшие, слуги, да и все люди, привезенные им с собой из Парижа, видели его во всем блеске великолепия; но он желал также покрасоваться перед самим собой и повосхищаться своей красотой.

Поэтому-то он и потребовал, чтобы все зеркала, которые только есть в предоставленном ему доме или у его свитских, притащили и развесили вплотную одно к другому по стенам его опочивальни, обтянутой гобеленами, – тут были зеркала из отполированного до блеска серебра[46 - ...тут были зеркала из отполированного до блеска серебра... – До XVI в. большие зеркала, дающие отражение по грудь или в полный рост, еще не существовали; тогда были только маленькие зеркала, которые вешались или ставились на мебель, да еще карманные. Делали их либо из полированного металла, как в древности, либо, начиная с XIII в., из стекла, на обратную сторону которого прозрачным клеем наклеивали оловянную фольгу. Нанесение на стекло ртутной или оловянной

амальгамы было изобретено только в XVI в.], круглые, как тарелки, и зеркала на ручке, зеркала стеклянные, наложенные на оловянный лист, вырезанные и в виде восьмиугольника и оправленные в позолоченную раму. Да, не слишком-то возрадуется епископ Амьенский, увидев, как продырявили гвоздями его прекрасные гобелены. Ну да ладно! Принц крови может себе такое позволить. Просто Роберу Артуа, сеньору Конша и графу Бомон-ле-Роже, пришла охота видеть себя в одеянии пэра, тем паче что надел он его впервые.

Как ни вертелся Робер, как ни крутился, отступал на два шага, подходил ближе, все равно ему не удавалось разглядеть себя целиком, а только частями, подобно разрезанному на куски витражу: слева золотая чашка длинной шпаги, а чуть повыше, справа, кусок груди, так что видны вышитые на шелковом кафтане гербы; вот там плечо, и к нему сверкающей пряжкой пристегнута пышная мантия пэра, а у самого пола, где-то там далеко внизу, бахрома длинной епанчи, морщившейся над золотыми шпорами: а потом, где-то уже на самом верху, корона пэра о восьми одинаковых цветках, нечто весьма монументальное, тем более что по его приказу в корону вставили все рубины, приобретенные на распродаже имущества покойной королевы Клеменции.

– Одет я, надо сказать, на славу, – решил он. – Но до чего же досадно, что я так долго не получал звания пэра, ибо костюм пэра мне идет, здорово идет! Графиня Бомон, тоже в парадном одеянии, по-видимому, лишь наполовину разделяла ликование своего спесивого супруга.

– А вы уверены, Робер, – озабоченно спросила она, – что эта дама придет вовремя?

– Ну конечно же, конечно, – поспешил ответить Робер. – И если даже она не явится сегодня, я все равно оглашу свои претензии, а бумаги представлю завтра.

Единственно, что омрачало радость Робера от созерцания нового его туалета, – это то, что впервые пришлось надеть его в жару, ибо лето нынче выдалось раннее. Он безбожно потел под всей этой сбруей, под всем этим золотом, бархатом и плотными шелками, и, хотя еще с утра хорошенько помылся в чане, от него уже шел крепкий, терпкий запах хищного зверя.

В распахнутое окно виднелось все пронизанное солнечным светом небо, доносился трезвон соборных колоколов, заглушавших уличные шумы, хотя заглушить их, казалось бы, не так-то легко – шутка ли, в город съехалось пять королей, и каждый со своим двором.

И впрямь в этот день – 6 июня 1329-го – в Амьене собралось пять королей. По словам канцлера, такого съезда никто из старожилков не помнит. Для принятия присяги юного короля английского Филипп Валуа с умыслом пригласил своих родственников и союзников, королей Наварры, Богемии и Майорки, а также графа Геннегау, герцога Афинского, а заодно всех пэров, герцогов, графов, епископов, баронов и маршалов.

Шесть тысяч коней, приведенных французами, и всего шестьсот, приведенных англичанами. Ах, как порадовался бы Карл Валуа за своего сына, да и за своего зятя Робера Артуа, если бы мог присутствовать на таком пышном сборище!

Новому коннетаблю Раулю де Бриен поручили для начала заняться размещением гостей. Со своей задачей он справился блестяще, хоть и похудел за несколько дней на пять фунтов.

Король Франции со всем семейством занял епископский дворец, правое крыло коего предоставили Роберу Артуа.

Английского короля поселили в Мальмезоне[47 - Английского короля поселили в Мальмезоне... – Этому особняку Мальмезон, дворцовых размеров, предстояло стать впоследствии городской ратушей Амьена.], а прочих королей поставили на постой в домах богатых горожан. Слуги спали вповалку в коридорах, конюшие расположились лагерем вокруг города вместе с лошадьми и повозками для господских пожитков.

Из ближайшей провинции, из соседних графств и даже из Парижа привалило несметное количество народа. Зеваки устраивались прямо на папертях.

В то время пока канцлеры двух держав выторговывали последние пункты и формулы вассальной присяги и после бесполезных и многословных споров единодушно пришли к соглашению, что договориться им не удастся, вся знать Европы в течение этой недели развлекалась турнирами и состязаниями на копьях, глазела на бродячих лицедеев, дававших свои представления,

на жонглеров, на танцующих, пировала, кутила, пила, причем пиршественные столы были расставлены в фруктовых садах при замках, и начиналось великое едение в полдень, а заканчивалось при мерцании звезд.

С амьенских заболоченных земель[48 - С амьенских заболоченных земель... – Эти земли изборождены каналами, дренирующими грунтовые воды, по которым огородники передвигаются на длинных черных плоскодонках, приплывая прямо на Водяной рынок в Амьене. Огороды (hortillonnages) покрывают территорию почти в триста гектаров. Латинское происхождение названия (hortus – сад) позволяет предположить, что создание этих огородов относится к временам римской колонизации.] на плоскодонках, которые одни лишь и могли пройти по узеньким каналам, и то если гребец орудовал вместо весел шестом, доставляли груды ирисов, лютиков, гиацинтов и лилий, разгружали их на причалах речных рынков, разбрасывали цветы по улицам, дворам и залам, где проходили короли. Город был напоен ароматом цветов, безжалостно раздавленных ногами и колесами; цветочная пыльца липла к подошвам, и запах ее примешивался к крепкому запаху конюшни и толпы.

А еда! А вина! А мясо! А пироги! А пряности! На бойни, работавшие круглые сутки, гнали стада быков и свиней, целые отары овец; охотничью добычу – ланей, оленей, кабанов, косуль, зайцев, и всякую морскую рыбу – осетров, семгу, окуней, а также и добычу речную – длинных щук, лещей, линей, раков, и разную домашнюю птицу – нежных каплунов, на диво откормленных гусей, пестрых фазанов, лебедей, белоснежных цапель, павлинов с переливчатыми хвостами – полными повозками везли в дворцовые поварни. Повсюду откупоривали бочки с вином.

Любой, будь он последний слуга, разгуливавший в ливрее, держал себя как важный сеньор. Девушки совсем ошалели. Со всех сторон хлынули итальянские торговцы на эту ярмарку, какие бывают лишь в сказках и какую устроили здесь по приказу короля. Фасады амьенских домов исчезали под штуками шелка, парчи, ковров, вывешенных из окон и заменявших флаги.

Слишком громко звонили колокола, оглушительно ревели фанфары, кричали люди, слишком много было здесь коней в парадной упряжи и охотничьих псов, слишком много еды и питья, слишком много принцев крови, слишком много воров, уличных девок, слишком много роскоши и золота, слишком много королей! Было отчего голове пойти кругом.

Все королевство пьянело от созерцания своей мощи, как недавно пьянел перед зеркалами Робер Артуа, созерцая свое отражение.

Лорме, дряхлый его слуга, тоже одетый во все новое, но даже сейчас, в эти праздничные дни, не перестававший брюзжать... о, в сущности, по пустякам, потому что Жилле де Нель слишком уж расхозяйничался в доме, потому что вокруг сеньора вертятся все какие-то новые люди... подошел к Роберу и произнес вполголоса:

– Дама, которую вы ждали, она здесь.

Гигант повернулся к Лорме всем телом.

– Веди ее ко мне, – приказал он.

Затем подмигнул своей супруге-графине, широким взмахом руки выставил всех из комнаты и еще крикнул вслед:

– А ну, уходите, стойте пока во дворе.

Оставшись один, он подошел на минутку к окну, поглядел на толпу, собравшуюся полюбоваться торжественным въездом знатных сеньоров и напиравшую на еле сдерживавшую ее цепь лучников. А там, наверху, вовсю заливались колокола; с лотков поднялся вдруг запах горячих вафель, и сразу весь воздух пропитался аппетитным их ароматом; окрестные улицы были сплошь забиты народом; из-за стоявших впритык друг к другу барок лишь кое-где взблескивали под солнцем воды канала Оке.

Робера Артуа распирало чувство торжества, но оно, это чувство, станет еще сильнее через полчаса, когда он в соборе протиснется к своему кузену Филиппу Валуа и скажет ему несколько слов, от которых задрожат собравшиеся там удивленные короли, герцоги и бароны. И каждый отправится восвояси не в столь радужном настроении, в каком он явился в собор. И в первую очередь его дражайшая тетушка Маго и герцог Бургундский.

О, конечно, Робер удачно обновит свое пышное одеяние пэра! Двадцать, нет, больше двадцати, лет упорной борьбы нынче увенчаются успехом. И однако,

в этой неизбывной радости и гордыне была какая-то трещинка, какая-то легчайшая печаль. Откуда бы ей взяться, особенно теперь, когда все ему улыбалось, когда исполнялись все его желания? И вдруг он понял: во всем повинен этот запах вафель. Пэр Франции, который сейчас потребует себе графство своих предков, не может взять и просто так выйти на улицу, хорош он будет в своей короне о восьми зубцах, если начнет у всех на глазах уплетать вафли. Пэру Франции заказано драть глотку, смешиваться с толпой, щипать встречных девушек, а вечерами орать в компании четырех потаскух, что было дозволено ему двадцатилетнему, ему, вечно сидевшему без гроша. Но именно эта печаль его и утешила. «Значит, – подумал он, – еще играет в жилах живая кровь!»

Посетительница скромно стояла у порога, боясь помешать думам этого знатного сеньора, да еще в такой огромной короне.

Было ей лет тридцать пять, лицо резко суженное к подбородку, резко очерченные скулы. Из-под капюшона дорожного плаща выглядывали косы, а от дыхания округлой пышной груди мерно поднималась и опадала шемизетка белого полотна.

«Ну и черт! Видать, наш епископ не скучал», – подумал Робер, оглядывая посетительницу.

Дама сделала реверанс, низко согнув одно колено. А Робер протянул ей свою огромную лапищу, всю в рубиновых перстнях.

– Давайте, – скомандовал он.

– При мне ничего нет, ваша светлость, – ответила дама...

Лицо Робера исказилось от гнева.

– Как так, а где же бумаги? – воскликнул он. – Вы меня сами заверили, что принесете их нынче!

– Я только что из замка Ирсонов, ваша светлость, мы там вчера были вместе с приставом Масио. Мы прямо прошли к железному кофру, вмурованному

в стену, и отперли его ключами, которые велели изготовить заранее.

– Ну и что?

– Кто-то побывал там до нас. Кофр оказался пустым.

– Чудесная, просто чудесная новость! – проговорил Робер и даже чуть побледнел. – Вот уже целый месяц вы голову мне морочите: «Ваша светлость, ваша светлость, я могу вручить вам документы, из которых явствует, что графство принадлежит именно вам! Я знаю, где они спрятаны! На следующей же неделе я их вам принесу, а вы дадите мне в обмен землю и деньги». А потом проходит неделя, проходит другая... «В замке безвыездно живут Ирсоны, а при них я не смею там показаться». – «Вчера я туда наконец проникла, ваша светлость, да ключ оказался никуда не годный. Потерпите еще чуточку...» И в тот день, когда я должен наконец вручить королю два документа...

– Три, ваша светлость, три: брачный контракт графа Филиппа, вашего батюшки, письмо графа Робера, вашего деда, и еще одно письмо мессира Тьерри.

– Три! Это уже совсем из рук вон! Являетесь сюда и преспокойно сообщаете мне: «У меня ничего нет, кофр, мол, пустой». Неужели вы думаете, что я вам поверю?

– Да спросите пристава Масио, мы же с ним вместе ходили! Разве вы не понимаете, ваша светлость, что мне еще хуже, чем вам!

В глазах Робера Артуа промелькнула недобрая искра подозрения, и он спросил совсем иным тоном:

– Скажи-ка, любезная Дивион, уж не надеешься ли ты меня одурачить? Хочешь у меня побольше вытянуть или, может, перекинулась на сторону Маго?

– Ваша светлость! Ну как вам такое даже в голову могло прийти! – воскликнула она, еле сдерживая слезы. – И это после всего того зла, что причинила мне графиня Маго, бессовестно присвоившая себе все, что оставил мне по завещанию мой дорогой сеньор Тьерри! Ох, как бы мне хотелось, чтобы вы хорошенько отплатили мадам Маго за все ее злодеяния!

Подумайте сами, ваша светлость: двенадцать лет я была верной подругой Тьерри, хотя люди пальцем на меня показывали. Но ведь епископ такой же человек, как и все прочие. А люди преисполнены злобы...

И Дивион пустилась рассказывать историю всех своих бед, которую Робер слышал по крайней мере раза три. Говорила она быстро; из-под ровной линии бровей ее взгляд, хоть и скользивший по Роберу, казалось, был обращен куда-то внутрь, как у всех, кто полностью поглощен лишь собственными своими делами и кого ничто другое на свете не интересует.

Само собой разумеется, ей нечего надеяться на мужа, ведь она ушла от него и открыто поселилась в доме епископа Тьерри. Конечно, муж у нее человек покладистый, возможно, еще и потому, что он уже давно не мужчина... Его светлость понимает, что я имею в виду... А епископ Тьерри, желая уберечь ее от превратностей судьбы, упомянул ее в своем завещании, оставил ей доходные дома и золотые монеты в благодарность за то, что она подарила ему несколько счастливых лет. Но не зря он опасался мадам Маго, которую хочешь не хочешь ему пришлось назначить своей душеприказчицей.

– Она всегда на меня косилась за то, что я моложе ее, и за то, что в свое время – Тьерри сам мне рассказал – он делил с ней ложе. Он отлично понимал, что, когда его не станет, она сыграет со мной злую шутку и что все Ирсоны – а они тоже против меня настроены, особенно придворная дама Маго Беатриса, самая мерзкая тварь из всей их семейки, – устроят так, чтобы выгнать меня вон и лишиться наследства. Робер уже не слушал эту болтовню, которой не предвиделось конца. Он снял свою тяжелую корону и положил ее на ларь, задумчиво поскреб свою рыжую шевелюру. Рухнули все его великолепно задуманные козни. «Хоть одну стоящую бумажку, брат мой, и я тут же прикажу обжаловать решение судов, состоявшихся в 1309 и 1318 годах, – вот что сказал ему Филипп VI. – Но пойми ты меня, как бы я ни желал тебе услужить, не могу я этого сделать, иначе пришлось бы менять свое решение относительно Эда Бургундского, а к каким это приведет последствиям, ты, очевидно, сам догадываешься». И ведь там была не просто бумажка, а сокрушительные документы, даже акты, которые Маго велела припрятать или уничтожить, дабы завладеть наследством Артуа, а он-то еще похвалялся, что их достанет!

– Я ухожу, – заявил он, – через несколько минут мне надо быть в соборе, где сеньору приносится присяга в вассальной верности.

– Какая присяга?

– Как какая, короля английского, конечно!

– Ах, так вот, значит, почему в городе такая толчея, я еле по улице пробралась.

Ничего-то она, эта дурочка, не видит, только и думает с утра до ночи об обрушившихся на нее горестях, ничего не понимает и даже спросить, что тут происходит, не удосужилась!

Робер подумал было, уж не слишком ли легкомысленно он доверился рассказам этой женщины, а вдруг ни бумаг, ни железного кофра Ирсонов, ни признания епископа никогда и не существовало, а все это выдумала Дивион. И Масио Алемана тоже одурачила, а может быть, он просто ее соучастник?

– А ну-ка, выкладывайте всю правду, женщина! Небось никогда вы этих бумаг и в глаза не видывали.

– Как не видела, ваша светлость! – воскликнула Дивион, приложив ладони к своему скуластому лицу. – Было это в замке Ирсонов как раз в тот день, когда Тьерри почувствовал себя плохо и его перенесли в его отель в Аррасе. «Жаннетта, – вот что он мне сказал, – я хочу оградить тебя от козней графини Маго, как я сам старался себя от них оградить. Она считала, что письма с печатями, которые по ее приказу изъяли из архивов, чтобы лишить наследства его светлость Робера, так вот, она считала, что письма эти все сожжены. Но на ее глазах сожгли только те, что находились в парижских архивах. А копии, хранящиеся в Артуа, – это собственные слова Тьерри, ваша светлость, – я ее уверил, что они не существуют, но сберег их здесь, да еще добавил к ним собственноручно написанное письмо». И Тьерри подвел меня к кофру, вмурованному в нишу в его кабинете, и дал мне прочитать несколько листов, сплошь покрытых печатями; я даже глазам своим не поверила – неужели, думаю, может человек дойти до такой низости. Там же в кофре лежали восемьсот золотых ливров. И Тьерри на всякий случай, если, мол, с ним что случится, дал мне ключ.

– Ну и когда вы в первый раз явились в замок Ирсонов...

– Я перепутала ключи; наверно, я тот ключ потеряла. Все несчастья на мою голову валятся! А когда так плохо начинается, то и...

Да и растеряха к тому же! Нет, очевидно, она правду говорит. Если хочешь обмануть человека, такой ерунды нарочно не выдумашь. Робер с удовольствием придушил бы ее, если бы от этого хоть какая-то польза была.

– Очевидно, после моего посещения они что-то заподозрили, – добавила она, – обнаружили кофр и взломали замки. Конечно, тут без Беатрисы не обошлось...

Дверь приоткрыли, и между створками просунулась голова Лорме. Робер досадливо махнул рукой, и голова исчезла.

– Но ведь, ваша светлость, – продолжала Жанна Дивион таким тоном, словно хотела искупить свою вину, – все эти письма можно в конце концов сделать заново, как по-вашему?

– Как так заново?

– А что ж тут такого, раз известно, что там было написано! Я, например, отлично помню, могу вам повторить почти слово в слово письмо монсеньора Тьерри.

Глядя куда-то вдаль пустыми глазами, подчеркивая каждую фразу вытянутым вперед пальцем, она начала:

– «Чувствую тяжкую на себе вину, что столь долго таил то, что права на графство Артуа принадлежат его светлости Роберу по соглашению, принятому перед бракосочетанием его светлости Филиппа Артуа с мадам Бланкой Бретонской; соглашение сие составлено в двух экземплярах, скрепленных печатью, из коих вторым владею я, а другой был изъят из королевских архивов одним из наших знатнейших вельмож... И единственное желание мое, чтобы после кончины графини Маго, по приказу коей, а также желая ей угодить, действовал я, буде господь бог призовет ее прежде меня, вернуть упомянутому выше его светлости Роберу то, что я хранил все это время...»

Та самая Дивион, что преспокойно теряла ключи, могла зато запомнить слово в слово прочитанное ею всего один раз послание. Бывают же люди, у которых так удивительно устроены мозги! И она предлагает Роберу, как нечто самое естественное в мире, подделать документы! Видно, полностью лишена понятия добра и зла, не ощущает никакой разницы между тем, что хорошо и что дурно, между тем, что дозволено, и тем, что запрещено. По ее разумению, хорошо то, что идет ей на пользу. За свои сорок два года Робер успел совершить чуть ли не все смертные грехи: убивал, лгал, доносил, грабил, насиловал. Но подделывать документы – такого ему еще не доводилось!

– Есть еще один бывший бальи из Бетюна, Гийом де ла Планш, он тоже должен все это помнить и поможет нам, ибо в те годы служил у монсеньора Тьерри писцом.

– А где он, этот ваш бывший бальи? – спросил Робер.

– В тюрьме.

Робер досадливо пожал плечами. Час от часу не легче! Ах, какой же он свершил непростительный промах, так глупо поторопившись в столь щекотливом деле. Надо было подождать, когда бумаги будут у него в руках, а он удовольствовался обещанием. Правда и то, что представился весьма удобный случай – присяга английского короля, недаром сам Филипп VI советовал не упускать благоприятной минуты...

Старик Лорме снова просунул голову в дверь.

– Ладно, ладно, сам знаю, – нетерпеливо крикнул Робер. – Невелико дело – только площадь пересечь.

– Король сейчас придут, – укоризненно отозвался Лорме.

– Хорошо, иду.

В конце концов, король всего-навсего его шурин, да и королем-то стал лишь потому, что он, Робер, сделал для этого все, что требовалось сделать. Да тут еще эта жарница! По спине под тяжелой мантией пэра стекали струйки пота.

Робер подошел к окну и взглянул на собор с двумя его непохожими друг на друга ажурными башенками. Косые солнечные лучи ударяли прямо в огромную розетку витража. По-прежнему пели колокола, и трезвон их заглушал людской гомон.

В сопровождении свиты по ступеням собора прошествовал герцог Бретонский.

А за ним, шагах в двадцати, ковылял хроменький герцог Бурбонский, шлейф его мантии несли двое конюших. Вслед за Бурбоном появилась графиня Маго Артуа со своей свитой. Да, нынче любезная тетушка имела право шагать уверенно! Багроволицая, чуть ли не на голову выше всех мужчин, она приветствовала толпу легким наклоном головы с видом царствующей императрицы. А ведь на самом деле просто воровка, лгунья, отравительница королей, обыкновенная преступница, что выкрадывает бумаги, скрепленные печатями, из королевских архивов! Быть почти у цели, чтобы опозорить ее при всех, одолеть ее – словом, добиться победы после двадцати лет неусыпных трудов, и вот отказаться от всего... и почему? Да потому, что наложница епископа перепутала ключи! Где это сказано, что с людьми злонравными нельзя сражаться тем же оружием злобы? И обязательно ли быть столь щепетильным в выборе средств, когда дело идет о торжестве справедливости?

По здравом рассуждении выходило, что если графиня Маго завладела бумагами, взломав кофр в замке Ирсонов – предположим даже, что она их не сразу уничтожила, хотя именно так, казалось, она и должна была поступить, – то ей было бы весьма не с руки предъявлять их кому бы то ни было или хотя бы намекнуть на их существование, коль скоро бумаги эти прямое доказательство ее вины. Здорово она покрутится, эта самая Маго, ежели предъявить ей письма, как две капли воды схожие с исчезнувшими! Будь у него хотя бы еще один день, чтобы все хорошенько обдумать, порасспросить кого следует... А приходится давать решительный ответ через час, не прибегая ни к чьей помощи, ни к чьему совету.

– Мы еще увидимся с вами, женщина, – пообещал он. – Только молчок, чтобы все было тихо!

Все-таки подделка документов – риск, и немалый...

Он взял в руки свою массивную корону, водрузил ее себе на голову, кинул взгляд в зеркала, отославшие ему обратно его отображение, рассеченное на тридцать кусков. Потом поспешил из комнаты, боясь опоздать в собор.

Глава VI

Вассальная присяга и клятвопреступление

«Никогда сын короля не преклонит колена перед сыном графа!»

Сам шестнадцатилетний монарх изобрел эту формулу и передал ее своим советникам, дабы они передали ее французским легистам.

– Как же так, монсеньор Орлетон, – говорил юный Эдуард, прибыв в Амьен, – как же так, ведь всего год назад вы здесь же во Франции доказывали, что я имею больше прав на французский престол, чем мой кузен Валуа, а теперь вдруг вы соглашаетесь с тем, что я должен пасть перед ним ниц?

Возможно, потому, что в детские годы Эдуард III страдал от неурядиц, раздиравших английский двор, из-за нерешительности и слабости своего отца, он сейчас, впервые предоставленный собственной воле, хотел одного – чтобы вновь восторжествовали ясные и здравые принципы. И в течение недели, проведенной в Амьене, он спешил обсудить все эти вопросы.

– Но лорд Мортимер весьма дорожит дружбой с Францией, – возражал ему Джон Малтреверс.

– Но, лорд сенешаль, – прервал его Эдуард, – по-моему, вы находитесь здесь, чтобы меня охранять, а не давать мне советы.

Юноша с трудом скрывал отвращение, какое испытывал к барону Малтреверсу, с его лошадиной физиономией, к тюремщику и, безусловно, убийце Эдуарда II. Как тяжело было юному государю вечно находиться под надзором Малтреверса или, что вернее, быть объектом его шпионских наблюдений.

– Лорд Мортимер, – продолжал он, – наш верный друг, но он не король и не ему предстоит приносить присягу королю Франции в вассальной верности. А граф Ланкастер, глава Регентского совета, единственный, кто имеет право принимать решения от моего имени, перед отъездом вовсе не наказывал, чтобы я приносил присягу, как последний вассал. И я не намерен поэтому действовать по-вассальски.

Епископ Линкольнский Генри Бергерш, канцлер Англии, тоже принадлежал к партии Мортимера, но не был столь слепо предан ему, как Малтреверс, да к тому же, сам человек блестящего ума, не мог не одобрить вопреки всем грядущим неприятностям намерения юного короля отстаивать свое достоинство, а одновременно и интересы своей державы.

Ибо по обычаю приносящий присягу верности своему ленному владыке должен не только предстать перед лицом такового без оружия, без короны, но еще и произнести свою клятву коленопреклоненным, подтверждая тем самым, что первейший долг вассала – принадлежать душой и телом своему сюзерену.

– Слышите, милорды, – первейший долг, – гнул свое Эдуард. – И если в то время, как мы ведем войну с шотландцами, король Франции пожелает втравить меня в свою войну против Фландрии, Ломбардии или еще где-нибудь, я в силу этого первейшего долга обязан бросить все и мчаться к нему, иначе он будет вправе отобрать у меня мое герцогство. А сего быть не должно.

Один из сопровождавших государя баронов, лорд Монтегю, был бесконечно восхищен мудростью, которую столь рано, не по возрасту, проявил его юный властелин, и его столь же не по возрасту редкостной твердостью. Самому лорду Монтегю было двадцать восемь лет.

– Я вижу, у нас будет славный государь, – воскликнул он. – И я счастлив служить ему.

И действительно, с той поры он не отходил от Эдуарда, помогая ему советами и став ему опорой.

И в конце концов шестнадцатилетний король восторжествовал. Советники Филиппа Валуа тоже желали сохранить мир, а главным образом положить конец раздорам. Разве не важнее всего прочего, что король Англии прибыл в Амьен?

Ведь не для того же мы созвали сюда людей со всего королевства, не для того сюда съехалось пол-Европы, чтобы дело окончилось провалом.

– Ладно, пусть приносит простую присягу, – ответил Филипп VI своему канцлеру так, словно бы речь шла о какой-нибудь фигуре в танце или о начале турнира. – В сущности, он прав; на его месте я, безусловно, поступил бы точно так же.

Вот почему в соборе, где было не продохнуть от съехавшейся отовсюду знати, набившейся даже в боковые приделы, Эдуард III выступил вперед со шпагой на боку, в мантии, вышитой львами и спадавшей тяжелыми складками, опустив светлые ресницы под надвинутой на лоб короной. От волнения он, и так от природы бледный, побледнел еще сильнее. В этом пышном, тяжелом одеянии он казался особенно юным. И все присутствовавшие в соборе дамы вдруг расчувствовалась и, умилившись, разом влюбились в этого подростка.

За Эдуардом шествовали двое епископов и с десяток баронов.

Король Франции в мантии, расшитой лилиями, сидел на хорах, чуть выше всех прочих собравшихся в соборе королей, королев и владетельных принцев, так что со стороны создавалось впечатление, будто он венчает пирамиду, составленную из золотых корон. Он поднялся, величественный и благожелательный, приветствуя своего вассала, остановившегося, не дойдя трех шагов до него.

Длинный луч солнца, пробившись сквозь витражи, коснулся обоих государей, словно небесным мечом.

Мессир Миль де Нуайэ, канцлер, глава парламента и Фискальной палаты, отделился от группы пэров и высших должностных лиц государства и встал между двумя королями. Было ему лет шестьдесят, и по его сосредоточенно-серьезному лицу видно было, что ни теперешняя роль, ни это парадное одеяние не производят на него особого впечатления. Сильным, хорошо поставленным голосом он начал:

– Сир Эдуард, государь, наш владыка и могущественный сеньор, принимает вас здесь не ради того, чем владеет он и должен владеть в Гаскони и в Ажене, как владел ими и должен был владеть король Карл IV, и что не оговорено в вассальной присяге на верность.

Тут выступил вперед и встал против Миля де Нуайэ канцлер Эдуарда – лорд Генри Бергерш и ответствовал:

– Сир Филипп, наш владыка и сеньор, король Англии, или кто-либо другой за него и от его имени, не намерен отказываться от своих прав, каковые имеет он в герцогстве Гиень со всем ему принадлежащим, и полагает, что никакие новые права, каковы бы они ни были, не будут присвоены королем Франции в силу приносимой здесь вассальной присяги верности.

Таковы были компромиссные формулировки, с которыми согласились обе стороны, – в высшей степени двусмысленные, они, в сущности, ничего не уточняя, ничего и не улаживали. Каждое слово можно было толковать двояко.

Французская сторона желала показать, что пограничные земли, захваченные при предыдущем государе после кампании, которую вел Карл Валуа, останутся в прямой собственности французской короны. Другими словами, подтверждалось уже существующее положение вещей.

Для Англии слова «кто-либо другой за него и от его имени» были намеком на несовершеннолетие короля и на существование Регентского совета; но «от его имени» могло и равной мере касаться в будущем прерогатив сенешаля в Гиени или какого-либо другого наместника короля. А что касается выражения «никакие новые права», то его следовало понимать как подтверждение существующих по сей день прав, другими словами, сюда входило и соглашение, подписанное в 1327 году. Но обо всем этом в открытую сказано не было.

Осуществление таких деклараций на практике, как, впрочем, и всех мирных договоров или заключенных союзов, с незапамятных времен и у всех народов целиком и полностью зависело от доброй или злой воли правителей. В данном случае встреча двух государей свидетельствовала о взаимном желании жить в добром согласии.

Канцлер Бергерш развернул пергаментный свиток, с угла которого свисала государственная печать Английского королевства, и прочел вассальную присягу.

«Сир, я становлюсь вашим вассалом от герцогства Гиеньского со всем ему принадлежащим и объявляю, что пожаловано оно вами мне как герцогу Гиеньскому и пэру Франции, согласно мирному договору, установленному меж вашими и нашими предшественниками, и согласно с тем, как мы и наши предки, короли Англии и герцоги Гиеньские, поступили с вашими предками, королями Франции, в отношении того же герцогства».

Тут епископ вручил Милью де Нуайэ только что прочитанную им вслух грамоту, составленную гораздо короче, чем полагалось обычно при принесении вассальной присяги.

В ответ Миль де Нуайэ возгласил:

– Сир, вы становитесь вассалом короля Франции, моего сеньора, в отношении герцогства Гиеньского и со всем принадлежащим ему, которое, как вы признаете, получили от него как герцог Гиеньский и пэр Франции, согласно принятому его предшественниками, королями Франции, и вашими предшественниками мирному договору и согласно тому, как вы и ваши предки, короли Англии и герцоги Гиеньские, поступали с его предшественниками, королями Франции, в отношении того же герцогства.

Каждое слово здесь могло бы при желании явиться прекрасным поводом для начала тяжбы в тот самый день, когда согласие будет почему-либо нарушено.

Король Эдуард III ответил:

– Да будет так!

И Миль де Нуайэ закончил церемонию словами:

– Государь, король наш, принимает вас в вассалы, подтверждая свои заверения и вышеупомянутые оговорки.

Эдуард сделал три шага, отделявшие его от сюзерена, снял перчатки, вручил их лорду Монтегю и, протянув свои тонкие белые руки, вложил их в широкие ладони французского короля. После чего оба короля облобызались в уста.

Тут только все собравшиеся в соборе заметили, что Филиппу VI почти не пришлось нагибаться, чтобы поцеловать своего юного английского родича. В основном разнились они телосложением, вернее, дородностью. А королю Англии еще расти и расти, и у него в свое время тоже будет прекрасная статья.

С самой высокой колокольни снова донесся трезвон. И на каждого снизошло какое-то душевное умиротворение. Пэры и сановники переглядывались и с удовлетворенным видом кивали друг другу. Король Иоганн Богемский сидел с обычным своим благородно-мечтательным выражением лица, и его холеная, каштановая волнистая борода струилась по груди. Граф Вильгельм Добрый и брат его Иоганн Геннегау улыбались английским сеньорам, и те отвечали им улыбкой. И впрямь, до чего же приятно, когда все проходит так гладко.

К чему спорить, ожесточаться, угрожать друг другу, приносить жалобы парламентам, отбирать ленные владения, осаждать города, яростно биться на поле боя, зря расходовать золото, зря проливать кровь рыцарей, зря изнурять людей, тогда как при наличии с обеих сторон доброй воли можно прекрасно договориться, каждый оставаясь при своем.

Король Англии уселся на приготовленный для него трон, стоявший чуть ниже трона короля Франции. Сейчас отслужат мессу, и все будет кончено.

Но, казалось, Филипп VI все ждет чего-то, повернувшись к своим пэрам, он искал взглядом Робера Артуа, что, впрочем, было не так уж трудно, ибо корона его возвышалась над всеми прочими.

А сам Робер не подымал глаз. Хотя в соборе после улицы веяло благодатной свежестью, он по-прежнему обливался потом и то и дело отирал лицо алой перчаткой. Но сердце его билось как сумасшедшее. Не замечая, что намокшая от пота перчатка линяет, он размазал краску по лицу, и казалось, будто по щеке его стекает кровь.

Вдруг он поднялся со своего сиденья. Пришла пора решиться.

– Сир, – вскричал он, подойдя к трону Филиппа VI, – коль скоро здесь собрались все ваши вассалы...

Миль де Нуайэ с епископом Бергершем как раз вели между собой беседу, и их твердые звучные голоса отдавались в каждом уголке собора. Но когда раскрыл рот Робер Артуа, всем показалось, будто это не люди говорят, а чирикают воробьи.

– ...и коль скоро нам надлежит творить праведный суд, – продолжал гигант, – я обращаюсь к вам, требуя справедливости.

– Сеньор Бомонский, мой кузен, кто же причинил вам ущерб? – с важностью спросил Филипп VI.

– Ущерб мне причинил, государь, ваш вассал, графиня Маго Бургундская, которая незаконно, хитростью и предательством захватила титулы и владения графства Артуа, кои принадлежали мне по праву предков моих.

Тут раздался столь же мощный трубный глас:

– Так я и знала!

Это изволила разжать уста Маго Артуа.

По рядам собравшихся здесь пэров и баронов прошло движение, но, в сущности, никого не ошеломил, а просто удивил начавшийся спор. Робер поступил точно так же, как граф Фландрский во время коронавания Филиппа VI. Казалось, на глазах присутствующих рождался новый обычай, в силу коего ущемленный в своих интересах пэр норовил принести жалобу именно на самом торжественном сборище и, несомненно, с предварительного согласия короля.

Герцог Эд Бургундский вопросительно взглянул на свою родную сестру, королеву Франции, которая ответила ему таким же взглядом и даже руки развела, как бы желая сказать, что сама первая изумлена не меньше брата и что все это и для нее тоже неожиданность.

– Кузен мой, – продолжал Филипп VI, – можете ли вы представить бумаги и свидетельства, дабы подтвердить ваши права?

– Могу, – твердо ответил Робер.

– Не может он, он лжет! – крикнула Маго. Она тоже подошла к королю и встала рядом с племянником.

Как же они были похожи, Робер и Маго, особенно сейчас, оба в золотых коронах, в одинаковых мантиях, распаленные гневом, оба с налитыми кровью бычьими шеями! Маго, эта великанша воительница, как и подобает пэру Франции, прицепила к поясу огромный меч с золотой чашкой. Доводись она родной матерью Робера, и тогда вряд ли бы так разительно проступило их родственное сходство.

– Насколько я понимаю, любезная тетушка, – продолжал Робер, – вы отрицаете, что в брачном контракте высокородный граф Филипп Артуа, мой батюшка, сделал меня, своего первенца, прямым наследником графства Артуа и что, воспользовавшись тем, что мой батюшка скончался, когда я был еще несмышленным ребенком, вы ограбили меня.

– Отрицаю каждое ваше слово, дурной племянник, вы просто хотите меня опозорить.

– Значит, вы отрицаете, что брачный контракт вообще существовал?

– Отрицаю! – взревела Маго.

Неодобрительный шепот послышался во всех углах собора, но особенно отчетливо прозвучало возмущенное «ох!» старика графа Бувилля, бывшего камергера Филиппа Красивого. Хотя вряд ли кто имел столько веских оснований, сколько граф Бувилль, хранитель чрева королевы Клеменции, когда она была в тягости Иоанном I Посмертным, знать, на что способна Маго, хотя вряд ли кому было известно так же хорошо, как ему, сколь искусна Маго во лжи и сколь хладнокровно идет она на любое преступление, было очевидно, что тут уж она бесстыдно отрицает истинную правду. Между отпрыском Артуа, принцем крови, имеющим право на ношение в гербе лилии[49 - ...принцем крови, имеющим право на ношение в гербе лилии... – Всех членов королевской семьи Капетингов называли лилейными принцами, потому что их герб представлял собой усеянное поле Франции, то есть золотые лилии на лазурном фоне с обрамлением, варьирующимся в зависимости от их уделов и ленов.], и дочерью Бретонских сеньоров не мог не быть заключен брачный контракт, который к тому же своей подписью скрепили тогдашние пэры и сам король. Герцог Иоанн Бретонский

разъяснил это своим соседям. На сей раз Маго зарвалась. Пускай бы она по-прежнему, как на двух предыдущих процессах, ссылалась на старинные кутюмы графства Артуа, которые были ей на руку после преждевременной кончины ее брата, пускай! Но отрицать, что существовал брачный контракт, – это уж слишком. Тем самым она подтверждала подозрения на собственный счет – ясно, уничтожила все бумаги!

Филипп VI обратился к епископу Амьенскому:

– Монсеньор, соблаговолите принести святое Евангелие и пригласить жалобщика...

После короткой, но многозначительной паузы он добавил:

– ...равно как и ответчицу.

И когда Евангелие было принесено, король заговорил снова:

– Согласны ли вы, как один, так и другая, вы, мой кузен, и вы, моя кузина, подтвердить слова ваши, поклявшись на святом Евангелии пред лицом вашего государя и всех королей, наших родичей, и перед лицом всех собравшихся здесь пэров?

Он, Филипп, был воистину величествен, произнося эти слова, и сын его, десятилетний принц Иоанн, чуть не задохнувшийся от восхищения, смотрел на отца, вытаращив глазенки и широко раскрыв рот. Зато у королевы Франции, Жанны Хромоножки, заметно тряслись руки и вокруг рта залегли недобрые складки. Дочь Маго, Жанна, вдова Филиппа Длинного, тонкая и иссохшая, побледнела так, что лицо ее слилось с белоснежным одеянием, которое положено носить вдовствующим королевам. И побледнела также внучка Маго, юная герцогиня Бургундская, побледнел и супруг ее, герцог Эд. Казалось, еще минута – и все они дружно бросятся вперед, чтобы удержать Маго от клятвopеступления. В наступившем молчании все жадно тянули вперед шеи.

– Пусть будет так! – в один голос воскликнули Маго и Робер.

– Снимите перчатки, – обратился к ним епископ Амьенский.

Маго явилась на церемонию в зеленых перчатках, но и они тоже полиняли от жары. Так что когда над Евангелием простерлись две могучие длани, одна была алая, как кровь, другая зеленая, как желчь.

– Клянусь, – начал Робер, – что графство Артуа принадлежит мне и что я представлю письма и свидетельства, подтверждающие мои права на владение!

– Дорогой племянничек, – воскликнула Маго, – осмелитесь ли вы принести клятву в том, что видели эти письма или держали их в руках?

Две пары серых глаз мерились злобным взглядом и чуть не касались друг друга два обложенных жиром подбородка. «Ох, шлюха, – думал Робер. – Значит, ты и впрямь украла письма!» Но так как в подобных обстоятельствах следовало вести себя решительно, Робер четко произнес:

– Да, клянусь! А вот вы, дражайшая тетушка, осмелитесь ли вы принести клятву в том, что такие письма никогда не существовали, что вы никогда ничего о них не знали и не держали их в собственных руках?

– Клянусь! – ответила Маго столь же решительно и взглянула на Робера так же ненавистно, как глядел на нее он. По сути дела, в этом поединке никто не выиграл ни одного очка. Чаши весов не дрогнули, не склонились ни в ту, ни в другую сторону, хотя на каждой лежал немалый груз лжи и клятвопреступлений, на которые оба вынуждены были пойти.

– Завтра будут назначены люди, которые поведут расследование, чтобы восторжествовала королевская справедливость. Кто солгал, того покарает бог, кто сказал правду, будет утверджен в своих правах, – проговорил Филипп и махнул рукой епископу, приказывая унести Евангелие.

Господу богу вовсе не обязательно вмешиваться в людские дела, дабы покарать клятвопреступников, и Всевышний спокойно может продолжать безмолвствовать. Дурные души в себе самих носят семя собственных бед.

Часть вторая

Игры дьявола

Глава 1

Свидетели

Еще только-только набравшаяся соков, величиной с пальчик, свисала со шпалеры груша.

А на каменной скамье сидели трое: посередине старик граф де Бувилль, а по обе стороны допрашивавшие его – рыцарь де Вильбрем, облеченный доверием короля, по правую руку, и по левую – нотариус Пьер Тессон, записывавший показания свидетеля. Огромный куполообразный череп Тессона казался еще внушительней, ибо его венчала рогатая шапка, из-под которой свисали прямые пряди волос; нос у него был заостренный, подбородок неестественно длинный и тоже острый, так что в профиль нотариус походил на серпик молодого месяца.

– Ваша светлость, могу ли я прочесть вам ваши показания? – почтительно обратился он к Бувиллю.

– Читайте, мессир, читайте, – согласился тот.

А сам, протянув руку, нащупал зеленую грушу, сжал ее в пальцах, проверил, скоро ли нальется она соком... «Надо бы сказать садовнику, чтобы он подвязал ветку», – подумал он.

Нотариус нагнулся над бумагами, разложенными у него на коленях, и начал:

– «Дня семнадцатого месяца июня года 1329, мы, Пьер де Вильбрем, рыцарь...»

Король Филипп VI не любил мешкать. Уже через два дня после скандала в Амьенском соборе, где торжественно принесли клятву Маго и Робер, король назначил особую комиссию и поручил ей произвести расследование; не прошло и недели после возвращения королевской фамилии в Париж, как расследование

уже началось.

– «...и мы, Пьер Тессон, королевский нотариус, выслушали...»

– Метр Тессон, – перебил читающего Бувилль, – не вы ли тот самый Тессон, который раньше состоял при доме его светлости Робера Артуа?

– Тот самый, ваша светлость...

– А значит, нынче вы королевский нотариус? Примите мои поздравления, блестящая карьера, блестящая...

Бувилль чуть выпрямился на скамье, сложил руки на округлом своем брюшке. Надето на нем было потертое бархатное одеяние, слишком длинное на нынешний вкус и уже давно вышедшее из моды, такие носили еще во времена Филиппа Красивого, а теперь граф донашивал его, когда ему припадала охота заняться садом.

Слушая чтение, он вертел большими пальцами, три раза в одну сторону и три раза в другую. День обещал быть прекрасным и жарким, но в утреннем воздухе еще держалась ночная прохлада...

– «... выслушали высокородного и могущественного сеньора, графа Юга де Бувилля, и слушание это происходило во фруктовом его саду при его же доме, расположенном неподалеку от Пре-о-Клерк».

– А знаете, совсем все изменилось с тех пор, как мой покойный батюшка поставил здесь этот дом, – вдруг заговорил Бувилль. – В его время по соседству, на всем протяжении от аббатства Сен-Жермен-де-Пре до Сент-Андре-дез-Ар, всего только три отеля стояли: Нельский, на берегу реки, вон там в глубине отель Наваррский и второй дом графов Артуа, загородный, потому что вокруг только одни луга да поля были... А посмотрите-ка, сколько сейчас всего понастроили!.. Все, кто на наших глазах сколотил себе состояние, лезут сюда, им, видите ли, здесь приспичило селиться; проселочные дороги и те в городские улицы превратились. Раньше, бывало, выгляну через ограду, и кругом одна зелень, а теперь кругом одни крыши, их-то я еще могу разглядеть, хоть зрение у меня затуманилось. А шуму-то, шуму! Подумать только, в этих местах – и такой шум! Живу будто в Ситэ, на самом бойком месте. Будь у меня впереди еще хоть

несколько лет, продал бы я этот дом и построил бы себе новый где-нибудь в сторонке. Но в том-то и беда...

И снова его рука почти вслепую нащупала маленькую зеленую грушу, свисавшую с ветки как раз над самой его головой. Только одно – ждать, когда груша эта созреет, – вот и все, на что он смел надеяться в свои годы, вот и все его дальние планы, которыми он мог себя тешить. Последнее время он начал терять зрение. На все окружающее, на людей, на деревья он смотрел теперь словно бы сквозь плотный слой воды. Быть человеком деятельным, важной персоной, разъезжать, заседать в королевских Советах, участвовать во всех важнейших государственных событиях, а кончить свои дни в этом саду, когда глаза застилает пелена, мысли медленно ворочаются в голове, одинокому, забытому всеми, разве что порой людям помоложе придет надобность прибегнуть к его памяти...

Мэтр Пьер Тессон и рыцарь де Вильбрем тоскливо переглянулись.

Ох, и трудно же с этим свидетелем, с этим старым графом Бувиллем, все время он переводит разговор на другое, бубнит о том, что и без него всем давно известно; но человек он слишком благородного происхождения и слишком уже стар, так что торопить его негоже. Нотариус снова взялся за чтение:

– «...который и сообщил нам собственными своими устами все ниженаписанное, а именно: что в бытности свою камергером государя нашего Филиппа Красивого, прежде чем тот взшел на престол, он ознакомился с брачным контрактом, заключенным между его светлостью покойным Филиппом Артуа и мадам Бланкой Бретонской, и что держал сей контракт в руках, и что в вышеупомянутом контракте было ясно написано, что графство Артуа переходит по праву наследования к вышеупомянутому его светлости Филиппу Артуа и после него его наследникам мужеска пола, родившимся от этого брака...»

Бувилль махнул рукой.

– Ничего я такого не утверждал. Как я вам уже говорил и как сообщал его светлости Роберу Артуа, когда он недавно у меня был: контракт-то я в руках держать держал, но, говоря по совести, не помню, чтобы я его прочел.

– А для чего же тогда, ваша светлость, вы держали этот контракт в руках, разве не для того, чтобы его прочесть? – спросил рыцарь Вильбрем.

– Нет, для того, чтобы передать контракт канцлеру моего государя, чтобы тот скрепил его своей печатью, это-то я помню хорошо, контракт был покрыт печатями всех пэров, а пэром был и мой государь Филипп Красивый, как старший королевский сын и первый претендент на французский престол.

– Запишите это, Тессон, – приказал Вильбрем. – Стало быть, все пэры приложили свои печати... Даже если вы, ваша светлость, не читали брачного контракта, вы все равно знали, что по наследству Артуа переходит графу Филиппу и его наследникам мужеска пола?

– Слышать-то я об этом слышал, – отозвался Бувилль, – но ничего другого удостоверить не могу.

Его, Бувилля, раздражала манера молодого Вильбрема вести расследование, всякий раз вытягивая из него больше, чем он намеревался сказать. Да он, этот мальчишка, еще на свет божий не родился, куда там, даже папаша его и не думал, что зачнет такого, когда происходили все те события, о которых его сейчас спрашивают! Вот они, эти государевы чиновнички, надавали им новых должностей, и они пыжались, как индюки. Ничего, в один прекрасный день и они тоже будут сидеть в своем саду под шпалерой, старенькие, всеми забытые... Да, Бувилль помнил, что было занесено в брачный контракт Филиппа Артуа. Но когда, когда он об этом впервые услышал? Перед самым бракосочетанием, в 1282 году или, может быть, в 1298, когда граф Филипп скончался от ран, полученных в битве при Вёрне? Или еще позже, когда старый граф Робер II пал в битве при Куртре, другими словами, в 1302 году, пережив сына на четыре года, вот тогда-то и началась тяжба между его дочерью Маго и его внуком, теперешним Робером III...

А теперь от Бувилля требуют, чтобы он, сосредоточившись мыслию, соотнес бы это событие с какой-нибудь определенной датой, а поди установи ее, когда прошло более двадцати лет. Да не один только нотариус Тессон и этот мессир Вильбрем примчались к нему в надежде расшевелить его память, но и его светлость Робер Артуа собственной персоной соизволил сюда явиться; вел он себя в высшей степени любезно и почтительно, что правда, то правда, а все-таки орал во всю глотку, размахивал по обыкновению руками и потоптал в саду своими сапожищами цветочные клумбы.

– Стало быть, уточним, – проговорил нотариус, перечеркнув что-то в своей писанине: – «...и хотя держал он вышеупомянутый брачный контракт в руках своих, но держал недолго, и он помнит также, что контракт был скреплен печатями двенадцати пэров Франции; и еще граф Бувилль сообщил нам: он слышал в те времена, что в вышеупомянутом контракте было с точностью записано, что графство Артуа...»

Бувилль кивнул в подтверждение этих слов. Он, конечно, предпочел бы, чтобы такие выражения, как «в те времена», «слышал в те времена», которые нотариус почему-то приписал ему самолично, вообще в этот документ не попали. Но он устал от борьбы. Да и имеет ли уж такое значение одно-два лишних слова?

– «...перейдет к его прямым наследникам мужеска пола, родившимся от брака сего; и еще он удостоверил перед нами, что контракт был помещен на хранение в архивы королевского двора, и еще он считает достоверным, что контракт впоследствии был похищен из вышеупомянутого хранилища по приказанию мадам Маго Артуа и с помощью различных хитростей...»

– Да я ничего этого и не говорил, – заметил Бувилль.

– Прямо вы этого не сказали, ваша светлость, – согласился Вильбрем, – но это следует из ваших показаний. Вспомним, что вы утверждали: во-первых, брачный контракт существовал; во-вторых, вы сами его видели; в-третьих, он был положен на хранение в архивы... скрепленный печатями пэров...

Вильбрем снова обменялся с нотариусом тоскливым взглядом.

– ...скрепленный печатями пэров, – повторил он, желая подольститься к свидетелю. – Вы заверяли также, что по этому контракту мадам Маго отстранялась от наследования и что контракт исчез из хранилища, с тем чтобы он не мог быть представлен на процессе, который его светлость Робер Артуа начал против своей тетки. Кто же еще, по-вашему, мог похитить? Уж не считаете ли вы, что это было сделано по приказу короля Филиппа Красивого?

Вопрос коварнейший! Ведь ходили же упорные слухи, будто Филипп Красивый, желая одарить тещу двух младших своих сыновей, оказал давление на судей,

дабы те вынесли решение в ее пользу. Скоро начнут, пожалуй, кричать на всех перекрестках, что, мол, самому Бувиллю и было приказано выкрасть бумаги!

– Прошу вас, мессир, не упоминайте имени моего государя, короля Филиппа Красивого, в связи с такими грязными делами, – с достоинством отозвался старик.

Над крышами и кронами деревьев пронесся звон колоколов с колокольни Сен-Жермен-де-Пре. Бувилль вдруг вспомнил, что как раз в это время ему приносят миску творога; это лекарь посоветовал ему трижды в день есть творог.

– Итак, – продолжал Вильбрем, – брачный контракт, следовательно, был похищен без ведома короля... А кто же еще был заинтересован в исчезновении бумаг, как не графиня Маго?

При каждом слове молодой королевский посланец многозначительно постукивал кончиками пальцев по каменной скамье; так нравились ему собственные, казалось бы, неопровержимые рассуждения.

– О конечно, – вздохнул Бувилль. – Маго на все способна.

В этом он имел возможность убедиться не со вчерашнего дня. Он сам знал за Маго два преступления, и куда более серьезных, чем кража каких-то пергаментов. Это она, в том и сомнения быть не может, убила короля Людовика X; это она на глазах у самого Бувилля убила младенца, и жителя-то которому было всего пять дней, коль скоро он был наследник престола, родившийся уже после смерти своего отца... и все для того, чтобы не выпустить из рук графство Артуа. Вот уж действительно, стоит ли так щепетильничать и по-глупому бояться погрешить против точности, когда речь идет о такой особе! Конечно, это она похитила брачный контракт своего брата, да еще имеет наглость утверждать, да еще клятву на Евангелии приносит, что такого контракта, мол, вообще никогда не существовало! Чудовище, а не женщина... Из-за нее настоящий наследник королевей Франции растет вдали от своего королевства, в каком-то захудалом итальянском городишке, у ломбардского купца, считающего, что это его родной сын... Хватит! Не надо об этом думать. В свое время Бувилль поведал папе эту тайну, – тайну, которую знал лишь он один. Не думать об этом, никогда не думать... а то, чего доброго, не удержишься и разболтаешь. А главное, пусть эти двое поскорее убираются прочь!

– Вы совершенно правы, оставьте все так, как вы написали, – проговорил он. – Где мне поставить подпись?

Нотариус протянул перо Бувиллю. Но тот с трудом различал нижний край бумаги. Поэтому самый конец его подписи не попал на лист. И тут рыцарь вдруг услышал старческий шепот:

– Прежде чем она попадет в когти дьявола, пусть совершится воля господня, и да искупит она грехи свои.

Подпись посыпали песком, чтобы быстрее высохли чернила. Нотариус сложил листки и письменные принадлежности в свой мешок черной кожи, после чего оба расследователя поднялись и распрощались с хозяином дома. Бувилль, сидя, помахал им рукой. Не прошли они и пяти шагов, как превратились для старика в две смутные тени, словно растворившиеся в толстом слое воды.

Бывший камергер Филиппа Красивого схватил стоявший рядом колокольчик и позвонил слуге, чтобы тот нес ему творог. Неотвязные печальные думы теснились в голове. Как мог его столь почитаемый государь, король Филипп Красивый, принять сторону Маго в тяжбе за Артуа, как мог он забыть акт, который сам же раньше и утвердил, как мог не беспокоиться пропажей этой бумаги? Ах, даже самые лучшие короли на свете совершают не одни прекрасные деяния...

И тут же Бувилль пообещал себе, что в ближайшие дни посетит банкира Толмеи, расспросит о Гуччо Бальони... и о ребенке... но вроде между прочим, просто как того требует обычная вежливость. Старик Толмеи почти не подымается с постели. У него, у Толмеи, отказали ноги. Такова жизнь: у одного пропадает слух, у другого застилает глаза, а у третьего отказывают руки или ноги. Прошедшее отмериваешь годами, но будущее осмеливаешься мерить только месяцами или неделями.

«Доживу ли я до тех пор, когда созреет эта груша, смогу ли я сорвать ее?» – подумал граф Бувилль, подняв глаза к шпалере.

Мессир Пьер де Машо, сеньор Монтаржи, был не из тех, кто забывает нанесенную ему обиду, пусть даже обидчика уже давно нет в живых. Его злобу

не могла утешить и кончина врага.

Его отец, занимавший высокую должность во времена Железного короля, был смещен Ангерраном де Мариньи, отчего значительно пострадало благосостояние семьи. Падение всемогущего Ангеррана Пьер де Машо воспринял как справедливое отмщение за личные свои невзгоды; самым великим днем его жизни был, да и будет, тот, когда он, конюший короля Людовика Сварливого, вел Мариньи на виселицу. Вел, это, конечно, сказано слишком громко, вернее, сопровождал, да и то не в первом ряду, но среди куда более знатных, чем он, сановников. Годы шли, и большинство тогдашних сеньоров один за другим отправились к праотцам, и вот именно поэтому всякий раз, когда заходила речь об этом памятном кортеже, Пьер де Машо без зазрения совести передвигал себя вперед, оттесняя прочих сопровождающих.

Поначалу он довольствовался рассказом о том, как дерзко мерился взглядом с мессиром Ангерраном, стоявшим на повозке, и сумел-де всем своим видом показать, что любого, кто навредит семейству Машо, как бы высоко он ни вознесся, в скором времени постигнет кара.

Потом память разукрасила прошедшее, и Пьер де Машо стал утверждать, что Ангерран во время своего последнего пути не только узнал его, но и, оборотясь к нему, печально произнес:

«Ах, это вы, Машо! Теперь настал час вашего торжества; я причинил вам зло и раскаиваюсь в том».

А сейчас, когда после этого события прошло уже четырнадцать лет, по словам рассказчика выходило, что Ангерран де Мариньи, направляясь к месту казни, обращался с речью только к нему, Пьеру де Машо, и во время следования от тюрьмы до Монфокона излил ему все, что было на душе.

Небольшого росточка, со сросшимися на переносице седыми бровями, с негнущимся коленом после неудачного падения с лошади на турнире, Пьер де Машо, хоть и знал, что не носить ему больше ни кирасы, ни лат, старательно чистил их и смазывал жиром. Был он столь же тщеславен, сколь и злопамятен, и Робер Артуа, прекрасно это знавший, не поленился нанести ему визит дважды именно для того, чтобы поговорить о том, как скакал Машо бок о бок с повозкой Ангеррана.

– Ну так вот, расскажите-ка все это посланным короля, они скоро придут сюда и спросят вас как свидетеля по моему делу, – заявил Робер. – Слова такого доблестного человека, как вы, со счета не скинешь; вы откроете глаза королю, и оба мы с ним будем весьма и весьма вам признательны. Кстати, вам выплачивают пенсию за все те услуги, что оказал государству ваш батюшка, да и вы сами?

– Конечно, не выплачивают...

Вопиющая несправедливость! Тогда как всякие пролазы, разные горожане во время последних царствований, были внесены в списки получающих пособие от французской короны, как же могли забыть столь достойного человека, как мессир де Машо? Ясно, забыли с умыслом, и тут не обошлось без подсказки графини Маго, а ведь, как известно, она была связана с Ангерраном де Мариньи!

Робер Артуа лично проследит за тем, чтобы эта несправедливость была исправлена.

Короче, когда после таких посулов к бывшему конюшему явился рыцарь Вильбрем с неизменным нотариусом Тессоном, хозяин дома с таким же рвением отвечал на вопросы, с каким их ему задавали.

Опрос происходил в саду по соседству, как того требовало правосудие, ибо показания должны даваться на открытом месте и на вольном воздухе.

Послушать Пьера де Машо, так казнили Мариньи только накануне.

– Итак, – говорил Вильбрем, – итак, мессир, вы были рядом с повозкой, когда сир Ангерран сошел с нее и направился к виселице?

– Я сам влез на повозку, – отвечал Машо, – и по приказу короля Людовика X спросил осужденного, в каких именно своих преступлениях и ошибках желал бы он покаяться, прежде чем предстать перед господом нашим.

На самом-то деле такое поручение было дано Тома де Марфонтену, но Тома де Марфонтен уже давно отошел в мир иной...

– И Мариньи продолжал утверждать, что он неповинен в тех деяниях, которые ему ставили в вину на суде; и однако же, он признал... привожу его собственные слова, вы только вдумайтесь, сколько в них коварства: «Ради справедливых дел творил дела несправедливые». Тогда я в лоб спросил, каковы же все-таки эти его деяния, и он мне назвал их десятки, к примеру вынудил отставить от должности моего отца, сира Монтаржи, а также похитил из королевского архива брачный контракт покойного графа Артуа в интересах мадам Маго и ее дочерей, невесток короля.

– Ага, значит, это по его приказу изъяли контракт? И он сам в этом признался! – воскликнул Вильбрем. – Это весьма существенно. Записывайте, Тессон, записывайте.

Нотариус не нуждался в понуканиях, он и так строчил с увлечением. До чего же хороший свидетель, этот сир де Машо!

– А не знаете ли вы, мессир, – заговорил в свою очередь Тессон, – заплатили ли сиру Ангеррану за это должностное преступление?

Машо на миг задумался, и его седые брови сошлись к переносице.

– А как же, конечно, заплатили, – брякнул он. – Потому что я его прямо спросил, получил ли он, как утверждают, сорок тысяч ливров от мадам Маго за то, чтобы суд решил дело в ее пользу. И Ангерран потупил голову в знак согласия и еще от стыда, и вот что он мне ответил: «Молитесь за меня, мессир Машо», а ведь это равносильно признанию. Тут Пьер де Машо сложил на груди руки с видом торжествующим и презрительным.

– Теперь все ясно, – удовлетворенно вздохнул Вильбрем.

Нотариус записывал последние слова свидетеля.

– А вы уже многих опросили? – поинтересовался бывший конюший.

– Уже четырнадцать человек, мессир, и еще вдвое больше опросим, – пояснил Вильбрем. – Но, слава богу, работа поделена между восемью посланцами короля и двумя нотариусами.

Глава II

Расследование ведет сам истец

Главным украшением рабочего кабинета его светлости Робера Артуа были четыре огромного размера фрески религиозного содержания кисти не слишком искусного мастера, явно отдававшего предпочтение охре и лазури; на фресках этих были изображены фигуры четырех святых, дабы «воспарял дух», как говаривал сам хозяин. С правой стороны святой Георгий поражал копьем дракона; напротив входа святой Морис, тоже покровитель рыцарей, стоял во весь рост в латах и лазурном плаще; в глубине святой Петр все тянул и тянул из моря свои сети; святой Магдалине, предстательнице кающихся грешниц, скрывавшей свою наготу под плащом золотых кудрей, был отведен четвертый простенок. Именно сюда чаще всего любил поглядывать его светлость Робер.

Потолочные балки тоже были выкрашены в охру, желтый цвет и лазурь с вкрапленными кое-где гербами Артуа, Бомона и Валуа. Убранство комнаты завершали столы, покрытые парчой, кофры, на которых в беспорядке валялось роскошное оружие, и массивные железные, позолоченные канделябры.

Робер поднялся с широкого кресла и вручил нотариусу черновики допросов, которые проглядывал с чувством живейшего интереса.

– Славно, очень славно, славные бумажки, – заявил он, – особенно хороши показания мессира де Машо, чувствуется, что вылились прямо из души и очень кстати дополняют слова графа Бувилля. Нет, решительно вы большой искусник, мэтр Тессон Кляузник, и я ничуть не жалею о том, что, так сказать, взрастил вас в этом качестве. Под вашей постной личиной кроется подлинное коварство, о каковом и мечтать не смеют многие ваши пустоголовые законники из парламента. Правда, надо признать, что господь бог наградил вас неплохим вместительством для ваших мозгов.

Нотариус с угодливой улыбкой склонил свою неестественно крупную голову под рогатой шапкой, напоминавшую огромный черный капустный кочан. Сдобренные немалой долей иронии, похвалы его светлости Артуа, возможно, сулят в будущем повышение по служебной лестнице.

– Это весь ваш улов? А других новостей вы мне нынче не сообщите? – добавил Робер. – Да, как, кстати, дела с бывшим бальи Бетюна?

Тяжба – такая же страсть, как карточная игра. Робер Артуа жил только своим будущим судебным процессом, думал и действовал в зависимости от хода дел. За последние две недели единственным смыслом его существования стал сбор свидетельских показаний. От зари до самого вечера он ломал себе над этим голову и ночами, бывало, просыпался, пробужденный ото сна внезапно мелькнувшей мыслью, звонил своему слуге Лорме и спрашивал, когда тот появлялся полусонный и надутый:

– А скажи-ка, старый храпун, это не ты ли говорил мне недавно о некоем Симоне Дурэне, или Дурье, который был нотариусом у моего деда? Не знаешь, жив он или нет? Попытайся завтра же разузнать.

Во время мессы, которую он слушал неукоснительно каждое утро благоприличия ради, он вдруг ловил себя на том, что возносит господу мольбу об удачном окончании тяжбы. И от жарких молений он как-то невольно обращался мыслью к своим махинациям и во время чтения Евангелия шептал про себя:

«А этот самый Жиль Фламандец, бывший раньше конюшим у Маго, которого она прогнала за какие-то неблаговидные делишки... Вот кто, верно, мог бы выступить свидетелем в мою пользу. Только бы не забыть!»

Никогда еще он с таким рвением не трудился в Совете; ежедневно просиживал по несколько часов в суде, и при виде его каждому приходила мысль, что сей муж всего себя отдал на благо государства; но делалось это лишь ради того, чтобы сохранить свое влияние на Филиппа VI, стать для него незаменимым, а главное, наблюдать за тем, чтобы на нужные должности назначались только люди по личному его, Робера, выбору. Он пристально следил за решениями суда, надеясь почерпнуть в них какую-нибудь подходящую мыслишку. А на все прочее ему было наплевать.

Пусть в Италии гвельфы и гибеллины продолжали уничтожать друг друга, пусть Адзо Висконти приказал убить своего дядю Марко и укрепил город Милан, осажденный войсками императора Людвига Баварского, а в то же время Верона, Виченца, Падуя, Тревизо не желают подчиняться папе, ставленнику Франции, обо всем этом Робер знал, слышал, но тут же выкидывал из головы.

Пусть в Англии партия королевы Изабеллы испытывала трудности, а непопулярность Роджера Мортимера с каждым днем все возрастала, его светлость Робер Артуа только плечами пожимал. В эти дни помыслы его меньше всего занимала Англия, равно как и фландрские суконщики, которые ради торгашеских своих барышей множат связи с английскими мануфактурщиками.

Но зато, если мэтр Андрие из Флоренции, каноник-казначей города Буржа, еще не получил новых церковных бенефиций или если рыцарь Вильбрем еще не перешел в Фискальную палату, вот это действительно важно и не терпит отлагательств. Потому что мэтр Андрие и рыцарь Вильбрем входят в число восьми лиц, назначенных для сбора свидетельских показаний к будущему судебному разбирательству.

Кандидатуры эти Робер сам предложил Филиппу VI, более того, сам их подобрал... «А что, если нам назначить Бушара де Монморанси? Он нам всегда верно служил... А что, если назначить Пьера де Кюньер? Он и впрямь человек осмотрительный и пользуется всеобщим уважением...» И точно так же происходило назначение нотариусов, а в числе их Пьера Тессона, который целых двадцать лет был тесно связан с домом Валуа, а потом и с домом Робера.

Впервые в жизни Пьер Тессон почувствовал себя столь значительной персоной; впервые в жизни с ним обращались так дружески, так фамильярно, и все это подкреплялось штуками материи для туалетов его супружницы и маленькими мешочками с золотыми монетами для него самого. Тем не менее Тессон выдохся, да и уже иссякали его силы, так как Робер обладал способностью не давать своим людям ни отдыха, ни срока.

Прежде всего его светлость Робер почти все время находился на ногах. Без остановки он вышагивал по своему кабинету между изображениями четырех святых. Мэтру Тессону было неприлично сидеть в присутствии столь важной особы, как пэр Франции. А ведь нотариусы привыкли работать сидя. Мэтру Тессону приходилось держать свой черный кожаный мешок в руках, что стоило немалого труда, а положить его на эти парчовые скатерти он не решался и все так же на весу вытаскивал из него нужные документы; поэтому немудрено, что он опасался нажать себе к концу тяжбы на всю жизнь болезнь поясницы.

– Я виделся с бывшим бальи Гийомом де ла Планш, находящимся ныне в тюрьме Шатле, – сказал он в ответ на вопрос Робера. – Дама Дивион уже навестила его раньше; он дает как раз те свидетельские показания, что нужны нам. Он просит, чтобы вы не забыли замолвить за него словечко перед мессиром Милем де Нуайэ, так как попался он на скверном деле и боится, что ему грозит виселица.[50 - ...попался он на скверном деле и боится, что ему грозит виселица. – Гийом де ла Планш, бальи Бетюна, потом Кале, находился в тюрьме за поспешную казнь некоего Тассара Пса, которого он собственным произволом приговорил волоочь по земле и повесить. Жанна Дивион навестила его в тюрьме и пообещала, что если он даст показания в том смысле, который она ему укажет, то граф д’Артуа вытащит его из тюрьмы, заставив вмешаться Миля де Нуайе. Однако во время проверочного допроса Гийом де ла Планш отрекся от своих слов и заявил, что давал показания лишь «из страха перед угрозами и из боязни остаться в тюрьме очень надолго и умереть там, отказавшись повиноваться монсеньору Роберу, такому великому, такому могущественному и такому близкому к королю».]

– Я прослежу, чтобы его выпустили, пускай спит спокойно. А вы выслушали Симона Дурье?

– Нет еще, ваша светлость, но вскоре выслушаю. Он готов заявить перед всеми, что присутствовал при том, как в 1302 году граф Робер II, ваш дед, перед самой кончиной продиктовал письмо, где подтверждалось ваше право на владение графством Артуа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/moris-druon/liliya-i-lev/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

24

«Не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело» или «Эдуарда не убивайте, бойтесь недоброго дела» (лат.).

Комментарии

40

...согласно древнему ритуалу и обычаям Йоркской епархии, – Церковь никогда не навязывала жесткую или единообразную форму обряду бракосочетания и скорее удовлетворялась частными обычаями.

Разнообразие ритуалов и терпимость церкви по отношению к ним основывается на том факте, что брак по сути есть договор между индивидами, а также таинство, священнослужителями которого друг для друга являются сами брачующиеся. В первоначальных христианских церквях присутствия священника и даже любого свидетеля при этом обряде вовсе не требовалось.

Благословление стало обязательным лишь после декрета Карла Великого. До реформы Трентского собора (XVI в.) обручение, в силу того, что является обязательством, имело почти такое же значение, как и само бракосочетание.

В каждой области были свои особые обычаи, которые могли варьироваться от епархии к епархии. Так, херефордский ритуал отличается от ритуала йоркского. Но обмен обетами, составлявший собственно таинство, происходил обычно прилюдно, вне церкви. Именно таким образом король Эдуард I женился на Маргарите Французской в сентябре 1299 г., у врат Кентерберийского кафедрального собора. Существующее в наши дни правило держать во время церемонии бракосочетания двери церкви открытыми (несоблюдение которого может даже стать причиной аннулирования брака) – пережиток как раз этой традиции.

Брачный ритуал архиепископства Йоркского имел некоторые аналогии с ритуалом Реймса, а именно в том, что касалось последовательного надевания кольца на четыре пальца, но в Реймсе этот жест сопровождался следующей формулой:

Этим кольцом церковь велит,

Чтобы наши два сердца в одно слились

Истинной любовью, праведной верой;

Того ради тебя обязую.

41

...если только через два месяца моя племянница королева... – После расторжения своего брака с Бланкой Бургундской (см. предыдущий том «Французская волчица») Карл IV женился последовательно на Марии Люксембургской, умершей при родах, потом на Жанне д'Эвре. Эта последняя приходилась племянницей Филиппу Красивому через своего отца Людовика Французского, графа д'Эвре, а также Роберу д'Артуа через свою мать Маргариту д'Артуа, сестру Робера.

42

...и одновременно получил в удел графство Марш. – По договору, заключенному в конце 1327 г., Карл IV обменял графство Марш, составлявшее его ленное владение, на графство Клермон-ан-Бовези, которое Людовик Бурбонский унаследовал от своего отца, Робера де Клермона. Именно по этому случаю сеньория Бурбон была возвышена до герцогства.

43

По всей зале разносилось ее хриплое дыхание. – Этот год был для Маго д'Артуа годом болезни. Из счетов ее дома мы узнаем, что ей пришлось пускать кровь на следующий день после этого совета, 6 февраля 1328 г., и еще 9 мая и 19 октября.

44

Золотая шляпа. – В средние века это обозначение использовалось параллельно со словом «корона». Равным же образом в ювелирном ремесле слово «палец» означало кольцо.

45

...некоего Пьера Роже, священнослужителя... – Пьер Роже, перед тем аббат Фекамский, участвовал в переговорах между Парижским и Лондонским дворами, до Амьенского оммажа. Был назначен в Аррасское епископство 3 декабря 1328 г. в замещение Тьерри д'Ирсона; потом был последовательно архиепископом Санским, архиепископом Руанским; и, наконец, в 1342 г. по смерти Бенедикта XII был избран Папой. Правил под именем Клементя VI.

...тут были зеркала из отполированного до блеска серебра... – До XVI в. большие зеркала, дающие отражение по грудь или в полный рост, еще не существовали; тогда были только маленькие зеркала, которые вешались или ставились на мебель, да еще карманные. Делали их либо из полированного металла, как в древности, либо, начиная с XIII в., из стекла, на обратную сторону которого прозрачным клеем наклеивали оловянную фольгу. Нанесение на стекло ртутной или оловянной амальгамы было изобретено только в XVI в.

Английского короля поселили в Мальмезоне... – Этому особняку Мальмезон, дворцовых размеров, предстояло стать впоследствии городской ратушей Амьена.

С амьенских заболоченных земель... – Эти земли изборозжены каналами, дренирующими грунтовые воды, по которым огородники передвигаются на длинных черных плоскодонках, приплывая прямо на Водяной рынок в Амьене. Огороды (hortillonnages) покрывают территорию почти в триста гектаров. Латинское происхождение названия (hortus – сад) позволяет предположить, что создание этих огородов относится к временам римской колонизации.

...принцем крови, имеющим право на ношение в гербе лилии... – Всех членов королевской семьи Капетингов называли лилейными принцами, потому что их герб представлял собой усеянное поле Франции, то есть золотые лилии

на лазурном фоне с обрамлением, варьирующимся в зависимости от их уделов и ленов.

50

...попался он на скверном деле и боится, что ему грозит виселица. – Гийом де ла Планш, бальи Бетюна, потом Кале, находился в тюрьме за поспешную казнь некоего Тассара Пса, которого он собственным произволом приговорил волочь по земле и повесить. Жанна Дивион навестила его в тюрьме и пообещала, что если он даст показания в том смысле, который она ему укажет, то граф д'Артуа вытащит его из тюрьмы, заставив вмешаться Миля де Нуайе. Однако во время проверочного допроса Гийом де ла Планш отрекся от своих слов и заявил, что давал показания лишь «из страха перед угрозами и из боязни остаться в тюрьме очень надолго и умереть там, отказавшись повиниться монсеньору Роберу, такому великому, такому могущественному и такому близкому к королю».

Купить: <https://tellnovel.me/ru/moris-dryuon/liliya-i-lev-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)